

Татьяна Славская

И В ЗЕРКАЛЕ МОЁМ,
И В ЗАЗЕРКАЛЬЕ...

Стихи и проза

Татьяна Славская

**И в зеркале моём,
и в зазеркалье... Стихи и проза**

«Издательские решения»

Славская Т.

И в зеркале моём, и в зазеркалье... Стихи и проза /
Т. Славская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-831905-1

Это — четвертая книга поэта, прозаика, журналиста Т. И. Славиной (Татьяны Славской). В неё вошли избранные стихи, очерки, рассказы, эссе разных лет, объединенные внутренней темой: найти себя, состояться в этом изменчивом мире.

ISBN 978-5-44-831905-1

© Славская Т.
© Издательские решения

Содержание

Иносказание (Вместо предисловия)	8
Другая память	9
«Бывают дни, что круги ада, —...»	9
«В начале было Слово. Но его...»	10
Сонет	11
«Неужто в нас – ни веры, ни любви...»	12
Третий взгляд	13
«История? Политика? Любовь?»	14
«Я – в этом мире. Мир – во мне...»	15
«И радости, и боли, и тепла —...»	16
«И снилось в ту ночь...»	17
«Говорят, – только правда ли? —...»	18
«Не тщетна жизнь моя...»	19
«Из пены житейской – иль пены морской? —...»	20
«Два полных ведра...»	21
«То единенье, то разрыв...»	22
«Зовёт нас надежда?»	23
«Ах, этот брошенный во тьму...»	24
«Зла не копи...»	25
«Всё – суета, так возвещал мудрец...»	26
«Эта светлая родинка...»	27
«Как много в жизни нам отведено!»	28
«От домашних чертогов...»	29
«Остаток лет, замешанный на боли...»	30
«Все эти ссоры, споры, свары...»	31
«Беззвучье. Безъязыкая тоска...»	32
«Как часто я в жизни чего-то боялась...»	33
«Зачем я? Куда и откуда?»	34
«Себя поведав мимоходом...»	35
«Беспечный, вечный жар в крови...»	36
«Мы ходим по жизни порой, как по лезвию...»	37
«Мы, разбредясь по собственным квартирам...»	38
«Так увидеть любимых захочется...»	39
«В пространстве лет...»	40
«Верю, верую – что бы ни случилось со мною...»	41
«Я полную чашу воды иль вина...»	42
«Пробился сквозь задвинутые шторы...»	43
«В один прекрасный день я родилась...»	44
«Измученная долгою дорогой...»	45
«В неожиданно-странном наитии...»	46
«Взять неожиданно билет —...»	47
«Ах, зеркало, мой пробный оселок...»	48
«На третьей по счёту от солнца планете...»	49
«Мой Бог, позволь, чтоб именно во мне...»	50
«Не на подмостках сцены, нет...»	51
«От привычного круга забот вдалеке...»	52

«Характер мой диктует мне? Судьба ли?»	53
«В честь осени или весны...»	54
«Посередине лета и тепла...»	55
«В едином созвучьи...»	56
«На белом рояле...»	57
«Хоть атрибуты жизни...»	58
«Как поздно я пришла к самой себе...»	59
«Не ведаю, пришлась ли ко двору...»	60
«Я – девочка, которой никогда...»	61
«Исчерпан короткий отрезок покоя...»	62
«Из тьмы незнания, страхов и недугов...»	63
«Жива. Живу. И эту жизнь приемлю...»	64
«И ни о чем я впредь не загрущу...»	65
«Какая есть, такая есть, поверьте...»	66
«Какая тишь... Какая тишь...»	67
«Я в одиночество шагну...»	68
«Раз, по Птичьему рынку гуляя...»	69
Баллада о плюшевом медвежонке	70
«Мне судьба подарила...»	71
«Надев броню, «Ты умер для меня!» —...»	72
«Звала я счастье именем твоим...»	73
«Уведёт...»	74
«Ветвей чернеющих узор...»	75
«Тайный голос...»	76
«Осознаю, почти прожив свой век...»	77
«Села бабочка мне на рукав...»	78
«Всё хорошо, когда отхлынет горе...»	79
«Всё вернётся на круги своя...»	80
«Опасность исчезла – ёж спрятал иголки...»	81
«Ещё земля плыла в потёмках...»	82
«Ни дождь мне не в помощь, ни солнце, ни время...»	83
«Нас хмурая осень...»	84
«Закон утрат всеобщ. Универсален...»	85
«Хлеб чёрствый без глотка воды...»	86
Одиночество	87
«Вокруг – такая благодать!»	88
«Всё погрузилось в утренний туман...»	89
«Апчхи! То простуда иль грипп?»	90
«Мы живём, а потом умираем...»	91
«На жёлтой берёзовой кроне...»	92
«Нас дух возносит до вершин...»	93
«И будет день...»	94
«Бегу, спешу, куда-то мчусь...»	95
«Всё, всё – городское, лесное...»	96
«Дребезжала ложечка в стакане...»	97
«Не зови меня больше, не надо...»	98
«Ни к чему нам ветры странствий...»	99
Пятый угол	100
«Не разлюблю Вас, дорогой...»	101

«Стихи мои – мой выплеск, извлечение...»	102
«Полоска чёрная, полоска белая...»	103
Молитва	104
«Я и стихи. Мои. И между нами...»	105
«О Бальмонте, точнее, о Бальмонте...»	106
«Жила я в этом мире как изгой...»	107
«Ко мне дойдёт сквозь сумрак плотный...»	108
«Ну зачем же, зачем так истово...»	109
«Опадание...»	110
Песня о дереве	111
«Пролейте, слёзы...»	112
«Ах, эти странности...»	113
«Не зови меня, смерть, не зови...»	114
«Первый диагноз – Жизнь...»	115
К картине художника Малевича	117
Немного софистики	118
«Не к живому плечу, а к дереву...»	119
«Давно сменились грозы на морозы...»	120
«В свой день печальный, остальных печальнее...»	121
«Мечтаю!»	123
«Давным-давно...»	124
«Всё исчезает, тает в свой черёд —...»	126
Воспоминание о прошлом	127
«Что-то снилось и снилось мне...»	128
Без меня ты лишь дым от огня —	129
«Разве жизнь уходит в Никуда?»	130
«В некий горький...»	131
Почти детское	133
«Всех лет отраженье —...»	134
«Когда-нибудь...»	135
Другая память	137
«День осенний. Тёплый, но не жаркий...»	138
«Кормила уток в маленьком пруду...»	139
«Всё – отдать... Всё сделать, что хотела...»	140
«Вижу – Время меня не лечит...»	141
«Каждый день, каждый час, каждый миг —...»	142
«Там, в заоблачных высях бродя...»	143
«Я в своём зазеркалье...»	144
«Девчонка в промокшем платъице...»	146
«Бумаги лист —...»	147
Материнское биополе	148
Перед рождением	148
«Спасибо, мама...»	153
Дочки-матери	154
«Мы были музыкой во льду...»	164
Конец ознакомительного фрагмента.	166

И в зеркале моём, и в зазеркалье...

Стихи и проза

Татьяна Исааковна Славская

© Татьяна Исааковна Славская, 2016

ISBN 978-5-4483-1905-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



*Сыну
Леониду
и всем, кто был и есть
в моей
жизни*

Иносказание (Вместо предисловия)

Никогда не писала предисловий. Искать одни слова, чтобы прокомментировать следующие за ними? Пред-и-словие... Одни слова предпосылать другим? Но...

Но Слово было и в начале. И, значит, предисловие – всегда «между»: между Словом изначальным и словами последующими. И подобное соотнесение *слов со Словом*, духовное, душевное, нравственное – подсознательное или осознанное – есть в каждом слове, изречённом или написанном.

«В начале было Слово...» Но как во всём есть своя изначальность, так в любой изначальности есть возможность *своего*, неординарного, индивидуального подхода, поиска, развития, продолжения. И кто знает, быть может, найдя слово, нужное, единственное в этой точке времени и пространства, мы помогаем рождению того высокого, что освещает и освящает жизнь? Дай-то, Бог...

Но мы не только наблюдаем мироздание и описываем его – мы живём в нём, мы – его часть. И наши слова – не только отражение жизни, они и сама жизнь. Жизнь, которая при общей необъятности и бесконечности бытия, у каждого отдельного человека, как ни грустно, имеет свой предел. И потому – *Memento mori*, помни о смерти, призыв, идущий к нам от древних мудрецов. В нём нет желания усугубить в нас ощущение трагизма от конечности нашего личного существования. Это – если отвечать мудростью на мудрость – лишь призыв дорожить каждым мгновением нашего быта-бытия, не тратя скоротечного времени на суетно-пустое...

Итог нашей жизни подведут другие. Или Время. И потому человеческое «Я» – лишь канун итога. Оно, до конца непостижимое, всегда уникальное и необъятное, меняющееся до последнего ощутимого нами вздоха, – целый мир со своим сокровенным движением...

Но и то, что существовало до рождения человека, уже успело войти в его «Я» и странными, порой причудливыми путями полнит его на протяжении всей жизни... Это и генетическое наше наследие, и поведенные нам откровения и воспоминания других людей – живущих ныне или живших ранее в этом мире... Бытует мнение, что в каждом из нас есть память о прошлом. Возможно, есть и память о будущем. *Всё – может быть. Даже если всё – уже было.*

Я перебирала в памяти свои стихи, очерки, рассказы – опубликованные и хранящиеся в рукописях... О ком бы я ни писала – я писала о себе. Моё сострадание было на уровне страдания. Сложные и экстремальные ситуации в судьбах других людей становились моей жизнью.

Так что любое «Я» в этой книге – моё «Я». Любое «Я» в этой книге – не только моё «Я». Каждое повествование о другом всегда превращалось в *иносказание о себе*.

Иносказание. Это слово, это сочетание букв мне подходит. Своим мягким и плавным течением, – гласных звуков в слове больше, чем согласных. Своей физически ощутимой протяжённостью, неспешностью: и-но-ска-за-ни-е...

Слово радует меня и своей приобщенностью к некоему *иному* измерению, *иному* способу постижения окружающего мира, некоей *приподнятостью* над привычным и обыденным. Остаётся лишь приподнять букву «С»... ИноСказание.

Другая память

*Мир вокруг – бесконечный, живой, беспокойный, зовущий
и звонкий...*

*А уйду – пусть я стану травой
под босыми ногами ребенка...*

«Бывают дни, что круги ада, —...»

Бывают дни, что круги ада, —
в них дух разлада и распада,
и очевидно лишь одно:
*как много, Господи, нам надо,
как мало, в сущности, дано.*
Тогда, отчаяньем ведома,
бегу из сутолоки дней,
и лес, что в двух шагах от дома,
дает приют душе моей.
И в миг, когда на сердце камень
жизнейских распрей и обид,
дано мне ствол обнять руками
и одиночество избыть.
И, прислонясь щекой к берёзе,
я не пытаюсь отличить,
её ль, мои ли это слёзы
стекают землю окропить...
И лишь пройдя сквозь все печали,
в конце пути, а не в начале,
пройдя сквозь годы и преграды,
понять мне было суждено:
*как мало, в сущности, нам надо,
как много, Господи, дано.*

«В начале было Слово. Но его...»

В начале было Слово. Но его
мы забывали в жизни нашей бренной,
и слов иных азарт и волшебство
нам в душу проникали постепенно.
Рассвет. Надежда. Небо. Синева.
Очаг. Огонь. Блик. Отблеск. Отраженье.
Какие есть прекрасные слова!
Движенье. Первозданность. Постиженье.
Ах, слово, слово, – свет и колдовство...
Прикосновенье. Нежность. Бесконечность.
Естественность. Природа. Мастерство.
Пленительность. Нечаянность. Беспечность.
Но есть совсем особые слова.
Дыханье. Дух. Смиренье. Состраданье.
Слова, что прорастают, как трава,
из чрева лет, из глуби мирозданья.
И нам дано их слышать, им внимать,
неспешно в их течение погружаться,
и обретая – вечно удивляться,
и постигая их – воссоздавать
их тайный смысл, их суть, первооснову...
Я верю, что в начале было Слово,
что из Него возникли те слова,
как в океане жизни острова.
Дыханье. Дух. Смиренье. Состраданье.
И наша встреча с ними, как венчанье.

Сонет

Не говори: уходит всё бесследно,
а тихо на ладони поддержи
какой-то миг – не первый, не последний,
один из тех, что подарила жизнь.
Пусть будет он и сумрачен, и страшен, —
ты сумрачности этой улыбнись:
огромна, бесконечна – только жизнь,
миг – только миг. Нелёгкий – преходящ он.
Но если вдруг захочется судьбе
миг счастья бросить на ладонь тебе, —
будь с этим счастьем сдержан, строг и чуток,
оно не терпит неуместных шуток.
И если сердцем к прошлому приник —
взвесь на ладони жизни каждый миг.

«Неужто в нас – ни веры, ни любви...»

Неужто в нас – ни веры, ни любви
не отыскать – зови иль не зови?
Неужто – ни Аллаха, ни Христа,
ни храма, ни молитвы, ни креста,
ни истины, ни крестного пути?
Неужто – и трава хоть не расти?
Ни прошлого, которое в чести,
ни берега, к которому грести?
Ни совести, дабы произнести
в последний миг последнее «прости»?
...Но есть надежда это обрести.

Третий взгляд

На *первый* взгляд – всё не попад.
Но взгляд *второй* вдруг обнаружит
тот скрытый смысл, который служит
поступкам, мыслям и вещам.
А *третий* взгляд – и ясно нам,
что ничего ещё не ясно,
что разбираться ежечасно,
и знать, и пробовать, и сметь,
то понимая – не уметь,
а то уметь – не понимая,
но каждым мигот отбирая
священной Истины зерно.
Одно.

«История? Политика? Любовь?»

История? Политика? Любовь?
Всё это – «Я» в различных измерениях,
в движении сил, в разладе, в изменении,
и жизнь, и тлен, и прошлое, и новь.

«Я – в этом мире. Мир – во мне...»

Я – в этом мире. Мир – во мне.
Но что же – в центре, что – вовне?
И где граница? Нет границы
меж тем, что видится, что мнится...
И в каждой точке мирозданья
живое тонкое сознание,
единство и разъединённость,
безмерность и определённость,
и в каждом миге бытия
есть прочность и незащищённость,
своя живая протяжённость,
есмы и Вселенная – и Я.

«И радости, и боли, и тепла —...»

И радости, и боли, и тепла —
мне, неуёмной, всё казалось мало...
Какой ещё тропюю не брела?
Каким ветрам лица не подставляла?
В каком лесу не собирала хворост?
Чей не признала храм или костёл?
И кто чужой – печальный или хворый —
в моей душе приюта не нашёл?
И в том пути, живом и непреложном,
любя, надеясь, веруя, скорбя,
я постигала, что одно и то же —
найти себя и выстрадать себя.

«И снилось в ту ночь...»

И снилось в ту ночь
что-то странное мне:
я к Истине шла
в этом призрачном сне,
и свет её брезжил
в туманной дали
у самого-самого
края земли.
Сон смутен и зыбок,
и трепетно-тонок,
путь к Истине – тёмн,
хоть свет её виден...
Вдруг слышу —
у ног моих плачет ребёнок
от мне неизвестной
и горькой обиды.
И пусть различить
в этой тьме его трудно,
он смотрит мне в душу —
покорно и мудро.
К нему я склоняюсь,
тяну к нему руки —
всё глуше, всё дальше
печальные звуки.
Что делать?
Кто даст мне на это ответ?
Где путь,
что начертан судьбой?
С одной стороны —
манит Истины свет,
и плачет ребёнок —
с другой.
Он смотрит мне в душу
покорно и мудро...
И тут я проснулась —
за окнами утро,
и светлое небо
зовёт улыбнуться...
Но мечется сердце
в тоске и тревоге —
нет, лучше бы мне
никогда не проснуться,
чем бросить ребёнка
на тёмной дороге.

«Говорят, – только правда ли? —...»

Говорят, – только правда ли? —
смерть красна на миру,
ну а я – и у радости
что чужак на пиру.
То мне жизнь – не загадка,
то не знаю, что делаю,
то утёнок я гадкий,
то ворона я белая,
то одним непонятна,
то другим не попад...
Не иду на попятный —
что ж, расклад как расклад.
Принимаю покорно,
да и в этом ли дело —
слыть вороною чёрной
или лебедем белым?
Не изменится доля,
не разрушится воля,
не прибавятся болести,
не убавится разума.
Ну, а просто по совести —
мало этого разве?

«Не тщетна жизнь моя...»

Не тщетна жизнь моя
меж Богом и людьми
и выдержит душа
почти безмерный гнёт,
коль кто-то, хоть один,
хоть на короткий миг,
к одной моей строке
единожды прильнёт.

«Из пены житейской – иль пены морской? —...»

Григоршо Славину

Из пены житейской – иль пены морской? —
вставала, рождалась... Вступала
в тот храм, в тот костёр, в тот земной непокой,
который Тобой называла.
Дорогами ада, дорогами рая
брела я, дороги не разбирая.
Ах, сказка, твои б сапоги-скороходы, —
я шла босиком через долгие годы.
Дорогами ада? Дорогами рая?
Как долго брела я по самому краю —
по краю обрывов и пропастей
я шла, о себе не давая вестей.
Так долго я шла, не давая вестей,
так долго тебя обретала,
что стал ты за время дороги моей
седым. Но тебя я узнала.

«Два полных ведра...»

Два полных ведра
на моём коромысле,
и в них отражается
всё поднебесье.
Два полных ведра
на моём коромысле —
откуда испить мне,
не сбив равновесья?
Два полных ведра
на моём коромысле —
всё так равновесно,
размеренно, поровну...
Но как мне, скажи,
доискаться до смысла
извечных метаний
из стороны в сторону?
Два полных ведра
на моём коромысле —
а в их равновесьи —
покой и движенье.
Два полных ведра
на моём коромысле —
и сладок мне
каждый глоток утоленья.

«То единенье, то разрыв...»

То единенье, то разрыв...
Но за семью замками
законы те и правила игры,
что правят нами.

«Зовёт нас надежда?»

Зовёт нас надежда?
Иль гонит нужда?
Мы призваны?
Или гонимы?
Два полюса жизни —
любовь и вражда,
и мечемся мы
между ними.
Два полюса жизни —
любовь и вражда,
и мечемся мы
между ними:
зовёт нас надежда
и гонит нужда,
и призваны мы,
и гонимы.

«Ах, этот брошенный во тьму...»

Ах, этот брошенный во тьму
вражды тяжёлый камень...
Уходит мальчик на войну,
развязанную нами.
И день, и год, и десять лет
мать всё глядит ему вослед.
Мать всё глядит ему вослед —
и день, и год, и десять лет.
...Опять мы у вражды в плену
и сквозь тысячелетья
от нас – всё так же, на войну, —
уходят наши дети.

«Зла не копи...»

Зла не копи,
мстить не давай обета,
и ты поймёшь,
доверившись судьбе,
что высшее достоинство
на свете —
прощать другому больше,
чем себе.

«Всё – суета, так возвещал мудрец...»

Всё – суета, так возвещал мудрец...
А этот мир, исполненный надежды?
А руки мастера, творящие одежду
невесте, коей завтра под венец?
Всё – суета? И этот гордый знак,
в глазах поэта трепетно горящий,
и дар его – живой, животворящий —
всё суетно? Напрасно? Просто так?
А странники, которых не вернут
под тёплый кров истлевшие одежды?
Мужи учёные, все те, кого невежды
камнями забросать не преминут?
А этот наступающий рассвет,
позолотивший небо хмуро-серое?
...Прости, мудрец, но я упрямо верую
в высокий смысл тех суета сует.
В тот смысл, который не с чем соизмерить,
и в то, что всех нас, суетных, услышат,
и в миг, и в вечность... А всего превыше —
в живую душу, что умеет верить.

«Эта светлая родинка...»

Памяти Григория Славина

Эта светлая родинка
на виске, средь морщинок...
Я с тобой, как на Родине
после долгой чужбины.
И очаг, нами созданный,
светлым храмам сродни,
дышим жизнью, как воздухом, —
чистым, общим, одним.
И глаза дорогие
греют мягким теплом...
Без тебя – ностальгия
даже в доме родном.
Столько прожито, пройдено
в пять стремительных лет...
Я с тобой – как на Родине,
хоть тебя уже нет.

«Как много в жизни нам отведено!»

Как много в жизни нам отведено!
Увидеть свет. Босым земли коснуться.
Познать любовь. И пригубить вино.
Испить тоски и к радости вернуться.
Зерно судьбы очистить от плевел.
Дитя дать миру. Ощутить предел.
И на пороге жадно оглянуться —
ах, сколько же ещё я не успел...

«От домашних чертогов...»

От домашних чертогов,
где уют и родня,
чувство вечной дороги
поднимало меня.
Не мешала погода —
что мне слякоть и зной?
В этой жажде *ухода*
всё приемлемо. Но...
За всю жизнь, как ни странно,
не решила – ей-ей! —
домосед я иль странник
по природе своей.
И что было – то было,
а что будет – то будет,
если горя избыток
души не остудит.
И не знаю покуда,
и не в помощь примеры —
то ли вера от чуда,
то ли чудо от веры...

«Остаток лет, замешанный на боли...»

Остаток лет, замешанный на боли,
и меньше сил... Но замыслов – всё боле:
понять, найти, увидеть, осознать,
посметь, успеть, испробовать, изведать,
и миру сокровенное поведать,
и что оно услышано – узнать...

«Все эти ссоры, споры, свары...»

Все эти ссоры, споры, свары,
раздоров дымные пожары —
вражды бессмысленный поток...
Как защититься от удара,
тебя сбивающего с ног?
Держусь надеждой: «Дай нам Бог,
дай Бог – и мне, и всем живущим —
не погубить живую душу,
чтоб нас, усталых и недужных,
хватало на добро и дружбу...»

«Беззвучье. Безъязыкая тоска...»

Беззвучье. Безъязыкая тоска.
Молчание на грани онеменья.
И тонкой струйкой тёплого песка
сквозь пальцы утекает вдохновенье.
Тускнеют краски. Меркнет синева.
И тьма грядёт. И рушатся основы.
Теряют смысл и звуки, и слова...
Но – теплится *несказанное* слово.
Ещё тоска не выпита до дна,
ещё душа устало-осторожна,
ещё вокруг всё та же тишина...
Но музыка – уже возможна.

«Как часто я в жизни чего-то боялась...»

Как часто я в жизни чего-то боялась...
Боялась – какую окажется старость?
Боялась жары и боялась простуды,
боялась разбить дорогую посуду,
боялась, что дело не сделаю к сроку,
по-женски боялась судьбы одинокой,
боялась насмешек и грубого слова,
надежды напрасной и умысла злого,
боялась, что люди за что-то осудят,
боялась – будильник меня не разбудит.
Тревожила душу мне всякая малость —
я даже бояться порою боялась.
Гадала – что завтра со мною случится?
Спеша, суетясь, что-то в жизни решала...
А жизнь проводила иные границы
и в бездны иные меня погружала,
да грузом забот неизбывных давила.
Но – было что было...
И э т о – о с т а л о с ь.
Чего же тогда я так долго боялась?
Но только на грани душевного краха
мы жить начинаем без этого страха.

«Зачем я? Куда и откуда?»

Зачем я? Куда и откуда?
Что зло есть, а что – благодать?
Нет, жизни великое чудо
и разумом всем не объять...

«Себя поведав мимоходом...»

Себя поведав мимоходом
берёзе, ветру и ручью,
то знахарствую, то лечу
вселенски вечные невзгоды.
Жизнь не деля на быль и небыль,
всего со всем приемля связь,
тянусь к простой горбушке хлеба
и ем её, не торопясь.
А в непонятных сновиденьях
совсем обычные дела
вдруг поразят соединеньем
Добра и Зла, Добра и Зла.
И снова – путь, движенье, действие,
то праведничаю, то грешу,
но – постороннему судейству
души своей не обнажу.
Без чьих-то просьб и вещей знаков
себя другим я раздаю,
но, приобщась к душе иной,
её приемлю как свою.
И до сих пор ещё не знаю —
там, на безмолвной глубине,
душа моя или... чужая
живёт во мне...

«Беспечный, вечный жар в крови...»

Беспечный, вечный жар в крови
у мироздания на виду...
Ещё чуть-чуть – и две любви
меня на свет произведут.
...Ещё чуть-чуть – и я шагну
из материнских рук надёжных
в свою двадцатую весну,
где так светло и бестревожно.
...Ещё чуть-чуть – и всё сумею,
и храм воздвигну для двоих,
и всё осилю, всё посмею,
и дотянусь до губ твоих.
...Ещё чуть-чуть – и взрослый сын
увидит у меня морщины,
и сын, родившийся у сына,
добавит парочку морщин.
...Ещё чуть-чуть – и я замечу
груз лет, что давит мне на плечи.
А впрочем, разве в этом суть?
...Ещё чуть-чуть – и миг настанет,
когда меня уже не станет.
А мне б ещё чуть-чуть... чуть-чуть...

«Мы ходим по жизни порой, как по лезвию...»

Мы ходим по жизни порой, как по лезвию,
то никнем, то вызов бросаем судьбе...
Но есть в этой жизни Добро и Поэзия,
что в трудный момент да помогут тебе...

«Мы, разбредясь по собственным квартирам...»

Мы, разбредясь по собственным квартирам,
по душам собственным – чужие, не зови! —
не ощущаем, сколько в этом мире
лю б в и.
Восторженной. Отчаянной. Больной.
Погрызшей в суете и мелких распрях.
В душе угрюмой мечущейся страстно.
Абсурдной. Вдохновенной. Озорной.
Увядшей как осенняя листва.
Поруганной. Отверженной. Гонимой.
В неведеньи проследовавшей мимо
того, кто ждал её как божества.
Надменной. Безнадёжной. Виноватой.
Огромной – не унять и не объять.
Всесильной и беспомощной. Распятой
и вновь восставшей из небытия.
Нелепой и смешной. Косноязычной.
Меняющейся, странной, многоликой...
И всё-таки – в любом своём обличье! —
в е л и к о й.

«Так увидеть любимых захочется...»

Так увидеть любимых захочется...
Но судьба возражает – «Нет!»,
нас готовя к тому одиночеству,
где уже ни любви, ни сует.

«В пространстве лет...»

В пространстве лет
рассыпаны мгновенья...
Что скрыто в них?
Прозреньё? Озареньё?
В мелодию
сплетённые созвучья
или россыпь разных нот —
на всякий случай?
К познанию
непроторенные тропы
или спрессован в них
готовый опыт?
Священный текст
или чистый лист бумаги —
пиши, твори,
исполненный отваги?
В них росчерк света
или сгусток тьмы?
Что ищем мы?
Чего боимся мы?

«Верю, верую – что бы ни случилось со мною...»

Верю, верую – что бы ни случилось со мною,
не умру я – уйду в измеренье иное.
В измерении том – без сумятицы чувств,
без надежд, без одежд, – знаю, я приживусь,
и обетов земных, верьте, там не нарушу,
на иные весы положив свою душу.
И со мною уйдут – и не надо иного,
и меня осенят, как земная награда,
только отзвук прощального слова,
только отсвет печального взгляда...

«Я полную чашу воды иль вина...»

Я полную чашу воды иль вина
придвину неспешно к застолью,
не требуя выпить немедля, до дна, —
пусть жажда диктует, и только.
Несу своё Я – пусть полно до краёв! —
легко, ненавязчиво, исподволь...
Да будет последнее слово мое
не проповедью, а исповедью.

«Пробился сквозь задвинутые шторы...»

Памяти Григория Славина

Пробился сквозь задвинутые шторы
весенний луч, такой лукавый малый...
Живу я в марте, в месяце, в котором
Тебя не стало.
Вчера соседка раскидала карты,
сулила мне дорогу и валета...
И хоть грядёт уже второе лето,
мне не уйти, мне не уйти из марта.
Живу – не в жизни. И ещё не скоро
с души спадет вселенская усталость, —
живу я в марте, в месяце, в котором
Тебя не стало.
И в миг, когда от жизненного старта
до самой крайней точки добреду, —
я не умру, я лишь уйду из марта,
к Тебе уйду.

«В один прекрасный день я родилась...»

В один прекрасный день я родилась.
Была зима. И снег, наверно, падал,
и кто-то юный по седому саду,
наверное, бродил, не торопясь.
И много ль дней – не стоит предрекать —
с минуты той успеет в Лету кануть
до той поры невидимой, пока
в один прекрасный день меня не станет.
Не знаю я – он пасмурный иль ясный,
в нём свет костра иль вечного огня...
Я потому зову его прекрасным,
что этот день – не только для меня.

«Измученная долгою дорогой...»

Измученная долгою дорогой,
прошедшая все круги бытия,
седая, постаревшая до срока, —
приди ко мне, поэзия моя.
Тебе нехитрый ужин сотворю
и приглашу к столу, а не к застолю,
и, поделаясь с тобою хлебом-солью,
не нагружу тебя своею болью,
а выслушаю исповедь твою.
Не попрошу ни славы у тебя,
ни почестей, ни благ и ни признанья,
лишь одного – коснись своим дыханьем,
коснись, не награждая, а любя...

«В неожиданно-странном наитии...»

В неожиданно-странном наитии
поняла я в свой скорбный час:
разрушает не ход событий,
мыслей ход разрушает нас.

«Взять неожиданно билет —...»

Взять неожиданно билет —
прочь все помехи! —
и ранним утром в Петербург
одной приехать.
По строгим улицам пройти,
всмотреться в лица,
и с городской толчеёй
безмолвно слиться.
И, затерявшись меж людей,
попутных, встречных,
вдруг ощутить себя – на миг! —
живой и вечной,
коснуться медленной рукой
оград чугунных...
И мир вокруг – как под смычком
тугие струны,
и меж струящихся колонн
плывёт неспешно
колоколов вечерний звон —
смиранный и мятежный.

«Ах, зеркало, мой пробный оселок...»

Ах, зеркало, мой пробный оселок
лукавых взглядов, озорства, кокетства,
с самим собой
извечный диалог,
с самим собой
безмолвное соседство.
Ах, зеркало, прозрачная страна,
стихия отраженья, погруженья,
где сквозь тончайший
флер воображенья
живого сердца
тайнопись видна.
Ах, зеркало, мой ревностный двойник,
свидетель всех случайных превращений,
самосожжений,
самообольщений —
ты мне откроешь
истинный мой лик?
Твоих границ пленительный овал
мне так же дорог, как любой осколок.
Ах, зеркало,
души моей привал,
твой век стеклянный
хрупок и недолог.
Но знаю – там, во глубине стекла,
есть *память*, что жива и неустанна...
Прошу —
не закрывайте зеркала,
когда я быть
меж вами перестану.

«На третьей по счёту от солнца планете...»

На третьей по счёту от солнца планете,
на нашей Земле, как понятно любому,
рождаются самые чудные дети...
Да разве могло быть у нас по-другому?
Смешные и милые наши создания —
таких не отыщешь во всём мироздании.
Родные кровиночки мамины, папины —
родные до боли, до каждой царапины...
Они полежат в разноцветных колясках,
потом, не минуя ни слёз, ни ушибов,
они дорастут – до стола и до сказки,
до первых свиданий и первых ошибок.
Пробившись сквозь строй
наших взрослых «накачек»,
надежд, указаний, упрёков, запретов,
они подрастут... И у них – не иначе! —
появятся самые чудные дети,
родные до боли, до каждой царапины, —
родные кровиночки мамины, папины.
...Вот так и ведётся от веку на свете:
на третьей по счёту от солнца планете
рождаются
самые чудные дети.

«Мой Бог, позволь, чтоб именно во мне...»

Мой Бог, позволь, чтоб именно во мне,
в моей душе, метавшейся во тьме,
пусть на исходе лет, однажды, вдруг, —
Твой голос проступил и был озвучен...
Прошу – Тебя и верую – во случай,
и век тружусь, не покладая рук.

«Не на подмостках сцены, нет...»

Не на подмостках сцены, нет,
(в театры цены те ещё!) —
бесплатное, на мостовой
давали зрелище.
И нас, не зрителей – толпу, —
чтоб мы вперёд не лезли,
на расстоянии держал
заслон железный.
Но пред забором одного
там страж оставил
как исключение из тех —
железных! – правил.
Смешной, нарядный, он сидит
на детском стуле,
а за его спиной народ
гудит, как улей.
Рубашки белый воротник,
штанишки в клетку —
сидит на стульчике своём,
поджав коленки.
Сидит у мира на виду,
весь – в таинстве момента,
один из всех уже готов
начать аплодисменты.
Между искусством и толпой
сидит, безгрешный,
ещё не зная, что всегда
он будет – *между*...
Меж двух огней, меж берегов,
меж правдою и ложью,
между проторенной тропой
и бездорожьем.
Между землёй и небом,
меж зрелищем и хлебом.

«От привычного круга забот вдалеке...»

От привычного круга забот вдалеке
я стояла тогда на горячем песке...
И пригрезились мне
в раскалённой тиши
та скрипачка
тринадцати лет с небольшим
да старик
в заскорузлой одежде своей, —
как два полюса жизни,
две крайности в ней.
Лёгкий мостик дощатый
на жёлтом песке,
звуки скрипки,
прижавшейся к детской щеке,
зеленеющий лес
на другом берегу
до сих пор я
никак позабыть не могу.
В этом миге,
очерченном ярко и чётко,
улыбался старик,
а грустила – девчонка,
и от круга привычных забот
вдалеке
я стояла пред ними
на зыбком песке.
И в том странном,
судьбою подаренном дне,
я поверила скрипке,
поведавшей мне,
что не финиш и старт,
и не полюсы это —
наша юность
и наши преклонные лета, —
это всё и всегда
на одном берегу...
Я теперь и сама
в том поклясться могу.

«Характер мой диктует мне? Судьба ли?»

Характер мой диктует мне? Судьба ли?
Живу, смеюсь, тоскую, ошибаюсь.
Прошу совета – и ему не следую.
Не так пою. Не вовремя обедаю.
Не тех люблю. Не с теми спорю.
Мой дом – на речке, стихи – о море.
То страж порядка, то враг порядка —
с соседским внуком играю в прятки.
Пусть ем не досыта, свободы – в досталь.
Всё очень просто. Всё так непросто.
Характер это? Случайность? Рок ли?
То – как пружина, то – мямля, рохля.
Делам серьёзным не давши ладу,
полдня азартно пеку оладьи.
Судьба ли это играет мною?
Иль я играю своей судьбою?
Дышу.
Надеюсь.
Смеюсь.
Тревожусь,
боль затая...
Живу —
покуда
мне жизнь
дороже
небытия.

«В честь осени или весны...»

В честь осени или весны,
а чаще – просто по традиции
на старт выходят бегуны
скрестить надежды и амбиции.
Вперёд! И номер на груди,
и жизнь уже не жизнь – дистанция,
и приз, что где-то впереди, —
неужто он другим достанется?!
Эх, люди-кони, бег тот спорый —
без всадника и без узды...
Но вдруг «подстёгивает» «скорая»,
взметнувшая сигнал беды.
Гудит сирена: дайте путь!
Но нет, осталось так немного:
дожать... домчаться... дотянуть...
до финиша совсем чуть-чуть...
Ну как тут уступить дорогу?!
Нечаянный свидетель, я
лишь одного прошу у Бога:
*«Пусть в нас, вершащих путь земной,
в житейских марафонах стонущих,
идущих выбранной стезёй
или в своём беспутьи тонущих,
с душой, где только тлен и дым, —
одно незыблемым останется:
желание сойти с дистанции,
услышав зов чужой беды».*

«Посередине лета и тепла...»

Посередине лета и тепла
без тени недовольства и смущенья
она лежит, беспомощно мала,
удвоенная собственной тенью.
Извечные ослушники в миру,
ни обойти, не подойти не смея,
два малыша, забыв свою игру,
растерянно возвысились над нею.
Их башмачки истёртые – в пыли,
они еще не знают, как поступят:
ногой небрежно на неё наступят
или поднимут бережно с земли.
Но – в апогее лета и тепла,
такого, что трава уже пожухла,
она лежит, доверчиво мала —
не женщина, не девочка, а кукла.
Ну а мужчины – возраст их не в счёт! —
решают, как от веку им завещано,
с тревогой, не осознанной ещё:
игрушка это или... Или – женщина?

«В едином созвучьи...»

В едином созвучьи,
в едином мгновеньи
так радостно слиты
покой и движенье.
Так трепетно слиты
в едином мгновеньи
улыбка, дыханье
и сердцебиенье,
и губы, и звуки,
и руки, и плечи —
и музыка жизни,
и музыка встречи.

«На белом рояле...»

На белом рояле,
на белой рояли
забытые ноты
печально молчали,
и руки в морщинах
бессильно лежали
на белом рояле,
на белой рояли...
На белом рояле,
на белой рояли
две тёмные розы
покорно увяли,
и струны, что жили
под крышкой рояля
уже не звучали...
Давно не звучали.
Но, может быть, это
пригрезилось мне
в коротком, тревожном,
нечаянном сне?
И стоит проснуться —
как тут же, я знаю,
откроется взгляду
картина иная:
там тёмные розы —
я вижу, не грежу —
прекрасны и свежи,
 пленительно свежи...
Там мальчик, малыш —
не достать до педалей! —
касается клавиш
на белом рояле...
...Те детские пальцы,
о, как колдовали...
Во сне? Наяву ли?
Над белым роялем...

«Хоть атрибуты жизни...»

Хоть атрибуты жизни
те же, те,
я, как во тьме крошечной,
в суете:
не разогнуть
ни душу и ни спину...
О, Господи... позволь...
на миг единый...
отринуть мать,
дитя своё отринуть,
знакомых и родных,
весь белый свет,
пропасть, исчезнуть,
затеряться., сгинуть —
так, будто не было меня
и – нет...
И в этом *кратком*
миге отрешенья
на грани
бытия-небытия
прислушаться...
и различить движенье
истерзанного
собственного «я»,
и на мгновенье
дух перевести...
Вдох – выдох... Выдох – вдох...
Легко, неспешно...
И от души
усталость отвести,
и новое дыханье
обрести,
и свет увидеть
в темноте крошечной.

«Как поздно я пришла к самой себе...»

Как поздно я пришла к самой себе,
когда почти и жизни не осталось,
но даже эта горестная малость
как благодать, как свет в моей судьбе.

«Не ведаю, пришлась ли ко двору...»

Не ведаю, пришлась ли ко двору
я этой жизни, или так, чужая...
Но если я когда-нибудь... умру...
О нет, об этом помолчу пока я.
Я помолчу, пока ещё рассвет
так будоражит утреннюю землю,
пока душа растроганно приемлет
души другой нечаянный привет.
Пока мне часто-часто снится сон
о выдуманном детстве и забавах,
где всё впопад, всё – в такт, всё – в унисон,
где всё – победа! Всё – «ура!» и «браво!».
Но, просыпаясь рано поутру,
я розовые сны отодвигаю
и будничное действие начинаю,
и в руки тряпку с веником беру.
...Но если я когда-нибудь... умру...
О нет, об этом помолчу пока я.
Я помолчу, пока в одной из книг
так терпеливо ждет меня закладка,
пока мой дух не ослабел, не сник,
пока мой внук со мной играет в прятки.
Пока мне есть, кому приготовить ужин,
пока мне этот мир так остро нужен,
пока – по всем раскладам бытия —
себя живую ощущаю я.

«Я – девочка, которой никогда...»

Я – девочка, которой никогда
ни книжек не дарили, ни игрушек,
чья изначальность – детские года —
пуста, как наволочки без подушек.
Подросток я – неловкий и худой,
чуждающийся шума и веселья,
в себя ушедший с детской бедой
так, как монах в свою уходит келью.
Я – девушка, попавшая в тиски
нескладности своей и невезений,
чьи дни полны тревоги и тоски,
а ночи – непонятных сновидений.
Я – женщина, которая сама
за всё платила полною монетой.
Я – женщина, чья странная зима
в себя вместила и весну, и лето,
и осень... Пограничная с зимой,
та осень так светла и благодатна...
Да, начинала путь с пустой сумой.
Да, шла и знала – нет дорог обратных,
а есть что есть. И посему
я не кляла пустую ту суму.
И потому на жизненном пути
(или на крестном?! Что одно и то же...),
не повторяя всуе имя Божье,
зажав тоску, как камешек в горсти,
спокойно пояс затянув потуже
я наполняла
не суму,
а душу...

«Исчерпан короткий отрезок покоя...»

Исчерпан короткий отрезок покоя,
и что-то опять происходит со мною,
и сердце всё чаще дает перебои
в мгновения те, где, бывало,
оно так спокойно стучало.
Порою я плачу... И если я плачу,
то это не так уже много и значит.
Что ж, пусть, но я тихо и грустно поплачу
в мгновения те, где, бывало
я так безутешно рыдала.
Я вдруг поняла, что уже не спешу,
по дому размеренно-тихо хожу
и ровно – до странности ровно – дышу
в мгновения те, где, бывало,
мне воздуха не хватало.
Я память свою не тревожу напрасно,
и всё же тоскую о чём-то неясном,
но эта тоска уже нет, не опасна
в мгновения те, где, бывало,
она меня просто съедала.
И гнев свой теперь я легко успокою,
чтоб ладить с другими и ладить с собою,
и гневаться, знаю отныне, не стоит
в мгновения те, где, бывало,
я гневом тяжёлым вскипала.
Я радуюсь будням, друзьям, юбилеям,
я радуюсь, если ничем не болею,
я радуюсь чаще и радость острее
в мгновения те, где, бывало,
я радости не замечала...
...Всё это, о чём я сейчас рассказала,
ещё не настало... *Почти не настало.*
И в этом «почти» я ещё горячусь,
вскипаю и гневаюсь, и тороплюсь
поладить с собою, поспорить с судьбою...
Ах, сердце, прости мне твои перебои...

«Из тьмы незнания, страхов и недугов...»

Из тьмы незнания, страхов и недугов,
что не избыть, не выплакать, не счесть,
я восходила на *иные* круги,
чтоб осознать и выстрадать – «Я есть!»
Чтобы понять, что солнце – незакатно,
что это я свершаю свой виток...
Всё повторяется. Всё так же невозвратно.
И не дано нам подвести итог.

«Жива. Живу. И эту жизнь приемлю...»

**Жива. Живу. И эту жизнь приемлю.
И буду жить до той поры, пока
во мне – ещё не высказана – дремлет
хотя б одна строка.**

«И ни о чем я впредь не загрущу...»

И ни о чем я впредь не загрущу,
и о былом не потревожу память.
В одну строку всю жизнь я умещу:
«Я к вам пришла. Уйдя, останусь с вами».

«Какая есть, такая есть, поверьте...»

Какая есть, такая есть, поверьте,
точней сказать, *была*, а не иначе...
Но если кто-то обо мне заплачет,
те слёзы *после жизни*, а не смерти.

«Какая тишь... Какая тишь...»

Какая тишь... Какая тишь
на этой боковой тропинке...
Прислушайся – и различишь,
как пробивается травинка
из-под земли, из-под камней,
лежащих в тёмном беспорядке,
из-под запутанных корней,
сквозь их разлапистую хватку,
как страстно рвётся из тенет
тонюсенькое волоконец,
чтобы увидеть белый свет,
себя явить земле и солнцу,
чтобы зелёный свой привет
нам донести такой ценою...
Лишь так из тьмы – из тьмы на свет! —
прорыв свершает всё живое.

«Я в одиночество шагну...»

Я в одиночество шагну,
как в склеп,
чтоб, отрешившись
от забот житейских,
там душу круто замесить,
как тесто
не на пирог,
а на насущный хлеб.

«Раз, по Птичьему рынку гуляя...»

Раз, по Птичьему рынку гуляя,
было это, помню, зимой,
я купила себе попугая,
привезла его в клетке домой.
Я ношу ему ветки из леса,
и по ним он так весело скачет,
и, наверное, это значит —
я учла его интересы.
Он свободно по дому летает
и садится на плечи ко мне,
ну а клетка висит на стене,
кроме ночи – всё время пустая.
Ест он зёрнышки прямо с руки
и горланно о чём-то лопочет...
А быть может, он так хлопочет,
чтоб избавить меня от тоски.
Не беда, что повсюду крошки,
мы спокойно живём теперь,
словно не было вовсе потерь
ни в моём и ни в птичьем прошлом.
Я учу его говорить,
его имя весь день повторяю,
только вдруг на его «фьюить»
«Дорогой мой...» – неслышно роняю.
Так что если когда-то судьба
одиначеством вас испугает,
не считайте, что дело – труба,
заведите себе попугая.

Баллада о плюшевом медвежонке

Визуку Вячеславу

Он был любим. Он жил, не зная бед,
опилками набитый медвежонок.
Его хозяин от роду трёх лет
к нему тянулся по утрам спросонок
и ласково Мишуткой называл,
и в плюшевые губы целовал,
а днём таскал всё время за собою
и мамину, пушистую, соболью,
ему на уши шапку надевал.
Они и ели из одной тарелки,
дружили – и водою не разлить,
и никакие зайцы или белки
соперничать с Мишуткой не могли.
И, плюшевый, доверчивый, смешной,
в счастливый миг забыв про всё на свете,
он возомнил, что он живой, иной...
А мальчик вырос, как растут все дети...
И не был он ни виноват, ни прав —
он просто вырос для иных забав.
Без этой дружбы, по-ребячьи пылкой,
всё изменилось в жизни медвежонка,
и даже прохудилась одежонка
и из неё посыпались опилки.
И он теперь, растерзанный и жалкий,
без лапы и без уха одного
сидит на свалке, на обычной свалке,
где, наигравшись, бросили его.
И смотрит он на пёстрый хлам и лом,
на муху, что ползёт по битой кружке,
и думает, всё думает о том,
как плохо в этой жизни быть игрушкой.

«Мне судьба подарила...»

Мне судьба подарила
тяжёлый подъём для начала
и привалы дала,
чтобы я в том пути отдыхала,
и надежду,
что я одолею вершину, —
всё дала, что смогла,
чтобы я восхождение свершила.
Я иду, то срываясь,
то вновь поднимаясь,
иногда в той дороге
меня настигает усталость,
иногда свет надежды
бывает и тускл, и неясен...
Ну а если дойду —
значит, дар этот был не напрасен.

«Надев броню, «Ты умер для меня!» —...»

Надев броню, «Ты умер для меня!» —
мы говорим тому, кто расстаётся с нами,
но нас не защищает та броня —
и в тот же миг мы умираем сами.
И меркнет свет в разгаре бела дня
от слов простых «Ты умер для меня!»
Но вспоминаем снова мы и снова
тринадцать букв – четыре горьких слова,
что проступают вопреки всему
сквозь годы, что летят и пролетели,
отметинами на душе – не теле,
что не стереть и Богу самому.
...Тем не дано покоя обрести,
кто первым их решил произнести.

«Звала я счастье именем твоим...»

Звала я счастье именем твоим...
Но нет тебя. Ушёл ты вместе с ним.
И сердце так молчанием сжимало,
что имени в нём места не хватало.
Но имя прорывалось из молчания
и становилось именем отчаянья,
и утверждала вечная разлука,
что это имя – имя вечной муки.
Когда ж звала тебя, с разлукой споря,
на это имя отзывалось горе.
Со временем и горе замолчало,
и стало имя – именем печали.
...Теперь всё это в памяти моей,
и память эта с каждым днём светлей.

«Уведёт...»

Уведёт,
поведёт колея...
Может быть,
это к Храму дорога?
«В добрый путь, —
прошепчу тихо я
и напутствую мысленно, —
с Богом...»

«Ветвей чернеющих узор...»

Ветвей чернеющих узор
на зимнем небе так печален...
Весна украсит их листвою,
согреет теплыми лучами
и смоем ту печаль дождями.
И лето – кто ему не рад! —
свершит положенное дело:
оденет землю в свой наряд,
день увеличит до предела.
И в отведённый ей черёд
нас осень встретит листопадом...
А там уж и зима грядёт,
и новый год так близко, рядом.
Всё то же, что теперь, что встарь:
зима и ветви вновь нагие...
Но то уже другой январь,
и год другой, и мы – другие.

«Тайный голос...»

Тайный голос
мне шепчет в ночи:
«Уходи
от пустого торго.
Не спеши
ни принять, ни отторгнуть.
Не спеши.
Не спеши...
Не спеши».

«Осознаю, почти прожив свой век...»

Осознаю, почти прожив свой век:
я – странный и отдельный человек,
отдельный от житейской суеты,
в которой, что ни говори, погрязла,
пряла, чтоб жить, – и не щадила прясла,
не ощущала – в жажду! – вкус воды.
И всё хотелось мне переиначить,
казалось всё то шуткой, то подвохом,
как будто куклу приходилось нянчить
взамен живой, кричащей, тёплой крохи.
Но мне тогда была ещё дана
живая радость самого простого —
я ощущала, медленно и снова,
что так прозрачна неба глубина
и многомерно найденное слово,
что неба синь так трепетно близка
и красками роскошествует осень...
И незаметно проступает проседь
как *путь к зиме* – на ветках и висках.
...К *своей* зиме несуетно шагая
и меньше о несбывшемся скорбя,
под грузом лет надежды не теряя,
и этот путь мы примем, и себя.

«Села бабочка мне на рукав...»

Села бабочка мне на рукав
летним полднем в саду, у фонтана,
и сказала вдруг: «Не лукавь,
ты печалишься слишком рано...»
«Я печалюсь? Да ты о чём?
Я дышу, я люблю садом...»
«Нет, – вспорхнув ко мне на плечо,
мягко ухо щекочет, – не надо...
Если можешь летать – летай,
только прожитых дней не считай,
потому что от этого счёта
исчезает чувство полёта.
Ох, уж этот мне человек —
он не солнце видит, а тень,
он считает коротким век,
я же знаю, как долог день...»
Вот и всё. Мотылёк не при чем,
нет его, лукавь – не лукавь...
Только ноет к дождю плечо,
только ветер колышет рукав,
только в воздухе, у лица
тихо-тихо дрожит пыльца.

«Всё хорошо, когда отхлынет горе...»

Всё хорошо, когда отхлынет горе,
в котором дух твой утопал так долго...
Всё хорошо, и даже то, что Волга
в Каспийское впадает море.

«Всё вернётся на круги своя...»

*«Всё вернётся на круги своя,
всё вернётся на прежние круги...»*
Так когда-то надеялась я,
воздевая к *ушедшему* руки.
Всё вернулось на круги своя,
но то были не прежние круги.
...И с другими я ныне в разлуке.
И опять простираю я руки
дотянуться до круги своя...
И опять это новые круги.
Неужели моя колея
не на круги – *на муки своя*?!
Лишь бумага всё терпит. И я
опишу неизбежность разлуки!
Но не в силах ни разум, ни руки
очертить эти круги своя...
Ведь не мы начертали те круги.

«Опасность исчезла – ёж спрятал иголки...»

Опасность исчезла – ёж спрятал иголки
и сразу стал добрым, счастливым, неколким.
Понятно ежу и любому известно:
всему – своё время, всему – своё место.
Кто *здесь и сейчас* может жить интересно,
тот, значит, нашёл своё время и место.
И будет он добрым, счастливым, неколким —
зачем же всё время топорщить иголки...

«Ещё земля плыла в потёмках...»

Ещё земля плыла в потёмках
и утро брезжило едва,
два домоседа, старца два
с нехитрым скарбом в двух котомках
отправились в неближний путь —
на мир неведомый взглянуть
да Истины неясный лик
узреть хоть на единый миг.
Зелёный прутик теребя,
шутил один: «Вот будет посох!»
«Ты опирайся на себя», —
сказал ему другой, философ,
«Всё это я давно постиг,
я разве глуп?» – спросил шутник.
«Ответ присутствует в вопросе», —
с улыбкой пояснил философ.
И пусть стезя их нелегка,
с котомкой справится рука,
груз лет – увы! – потяжелее:
любая малость одолеет
нежданно ослабевший дух
или нечаянный недуг
ослабит пусть не дух, так ноги...
Пока же странники – в дороге.
За шагом шаг, за мигом миг,
и философствует шутник,
что зёрна Истины, как просо,
и улыбается философ:
«Всё это я давно постиг».
К чему им рай? И что им ад?
И тернии, что под ногами?
Коль Бог в душе и небо над
двумя седыми головами.

«Ни дождь мне не в помощь, ни солнце, ни время...»

Ни дождь мне не в помощь, ни солнце, ни время,
ничто не растёт на моём пепелище,
и разум причины тому не отыщет —
что, если я сеяла мёртвое семя?
Но я поливаю ту землю и холю,
надеясь – она оживёт, пусть не скоро...
А рядом, так близко, зелёное поле
терзает меня молчаливым укором.
Там ветер высокие травы колышет
и носятся там ароматы хмельные,
там весело бегают дети босые...
А я... поливаю своё пепелище.
А я поливаю своё пепелище,
пусть даже в том смысла никто не отыщет.
Упрямо веду и с собой, и с судьбою
нелепый и долгий, смешной поединок.
...И вот уже несколько слабых травинок
взошли, наконец, над моею землёю.
А разум мой всё не находит покоя:
то семя *моё* прорастает травой
иль ветер занёс в мою землю *чужое*?
Но сердце с подходом таким не согласно
и мне возражает: «Не мудрствуй напрасно!
Земля оживает на том пепелище?
Нет смысла иного, нет радости – выше...»

«Нас хмурая осень...»

Нас хмурая осень
давно развела листопадами,
но боль затаи...
Ведь я ещё падаю,
все ещё падаю, падаю
в объятия твои.

Не надо, не надо,
не надо, не надо загадывать,
что ждёт нас двоих...
Я падаю, падаю,
падаю, падаю, падаю
в объятия твои.

Надежда, надежда,
как утро, росой и прохладой
меня напои...
Надежда на то,
что я падаю, падаю, падаю
в объятия твои.

Нас общей дорогой
судьба уже нет, не обрадует
одной на двоих...
В пути одиноком
пусть я упаду... но я падаю
в объятия твои.

И с жизнью прощаясь,
ни рая не жду и ни ада я...
Тоски не таи,
ведь я возношусь, возношусь,
возношусь, словно падаю
в объятия твои.

«Закон утрат всеобщ. Универсален...»

Закон утрат всеобщ. Универсален.
Он – это дух осиротевших спален,
с землёю из земли исторгнутых грибниц,
душой в душе построенных гробниц...

«Хлеб чёрствый без глотка воды...»

Хлеб чёрствый без глотка воды
взамен небесной щедрой манны,
чтоб ощущали мы, гурманы,
и вкус беды...

Одиночество

Его обличий нам не счесть:
оно и знак, и признак,
и часть судьбы, и свыше весть,
что есть предел у жизни.
В пустом дому, как в мире том,
где порваны все узы,
ты с одиночеством – вдвоём...
И нет тесней союза.
Среди толпы или в глуши,
на празднике и тризне
оно как часть твоей души —
не отделить при жизни.
И не избыть, и не излить,
и не разрушить...
В нём только можно поселить
родную душу.

«Вокруг – такая благодать!»

Вокруг – такая благодать!
А что вокруг? Леса и травы,
и ливень – не найти управы,
и трели птиц – не разгадать,
и неба свод над головой
то серый, то вдруг голубой.
Но... разве это благодать,
коли её – ни дать, ни взять?
Да тем она и благодать,
что нам её – ни взять, ни дать,
лишь благодарно ощущать
всем существом – душой и плотью —
тот мягкий свет сквозь сумрак плотный,
ту нить, связующую нить
меж нашим «Я» и мирозданьем...
И нет мучительней желанья,
чем просто быть, дышать, любить,
не прерывая эту нить.
...А мы терзались – *как* нам жить,
что нанизать на эту нить?

«Всё погрузилось в утренний туман...»

Всё погрузилось в утренний туман.
Исчезли краски, стёрты очертанья,
безлико и бесцветно мирозданье,
всё – лишь мираж, иллюзия, обман.
Всё – лишь мираж, иллюзия, обман?!
Но есть и я, и тот кусочек парка,
который неожиданным подарком
здесь и сейчас мне этой жизнью дан...

«Апчхи! То простуда иль грипп?»

Апчхи! То простуда иль грипп?
Ну надо ж, в погоду такую...
И вдруг под ногами – гриб,
и птаха на ветке ликует.
И звонкие трели её
снимают моё беспокойство...
То Высшая сила даёт
мне знаки особого свойства,
о том, что – держись не держись —
спасёт тяготенье земное,
о том, что целительна жизнь,
покуда она со мною.

«Мы живём, а потом умираем...»

Мы живём, а потом умираем.
Всё, что между, застынет у края...
Мы живём или... мы умираем?
Я ответа не выбираю
на вопрос, что и грустен и вечен.
Если холод – топлю свою печку
и готовлю нехитрый ужин,
если он хоть кому-то нужен.
Не тревожусь – куда мы, где мы,
«быть – не быть» – не решаю дилеммы...
Коротка наша жизнь или вечна,
путь земной наш продолжится Млечным.
... Чистой тряпочкой пыль вытираю
за мгновенье до ада иль рая.

«На жёлтой берёзовой кроне...»

На жёлтой берёзовой кроне,
на фоне небес, в вышине
ворона сидит. И вороне
сегодня труднее, чем мне.
Ведь нет у вороны одежды,
ничто на земле – не жильё,
и даже ни тени надежды,
что кто-то согреет её,
и стынет у краешка кроны,
а ночью – растает во мгле...
Мы все, хоть однажды, воронами
бываем на этой земле.
Но так живописна картина —
ворона... желтеющий лес... —
что дух из житейской рутины
взмывает до самых небес.
Мы все, хоть однажды, поэтами
бываем в прозреньё своём.
Прошу вас, хотя бы поэтому,
не будем ругать вороньё.

«Нас дух возносит до вершин...»

Нас дух возносит до вершин
и – гнёт нам спину...
На обе крайности один
покров накинута.

«И будет день...»
(Вариации на тему)

1.

И будет день, и будет пища
и для богатых, и для нищих,
как свыше верить нам велят...
Одни – погрязнут в пресыщеньи,
другие – голод утолят.

2.

И будет день, и будет пища
и для волков, и для телят.
Кто травояден – травку сыщёт,
а те, другие, их съедят.

3.

И будет день, и будет пища
для нас, голодных и нагих,
и каждый свой кусок отыщёт
или... отнимет у других.

*Да, будет день. Да, будет пища.
И всяк там с в о й кусок отыщёт,
как предназначено судьбой,
тем самым став... с а м и м с о б о й.*

«Бегу, спешу, куда-то мчусь...»

Бегу, спешу, куда-то мчусь
и, обманувшись, снова верю...
И, хлопнув дверью вновь, учусь
не хлопать дверью.

«Всё, всё – городское, лесное...»

Всё, всё – городское, лесное,
небесное и земное —
всё пахнет сегодня весной.
И деревом пахнут опилки,
шампанским – осколок бутылки,
и даже седая старушка
с платочком своим надушенным
пахнет девчонкою пылкой...

«Дребезжала ложечка в стакане...»

Дребезжала ложечка в стакане
на столе плацкартного вагона
поезда, что шел до Абакана
мимо деревенок и перронов,
мимо женщин и мужчин усталых
с сумками, бездонными, как вечность,
мимо постаментов, мимо свалок,
по пути земному, а не Млечному,
мимо старых и бесцветных стягов,
мимо полустанков и вокзалов,
мимо перелесков и оврагов,
мимо кладбищ и лесоповалов,
мимо крыш, где тонкой струйкой дыма
надвое делились жизнь и небо,
мимо рыбаков, тянувших невод,
мимо барж, причалов... мимо... мимо...
Но, не глядя в дали законные,
в поезде, что шёл до Абакана,
на столе плацкартного вагона
дребезжала ложечка в стакане.

«Не зови меня больше, не надо...»

Не зови меня больше, не надо,
не зови – или будет беда:
я растаю от первого взгляда,
испарюсь, как под солнцем вода,
воспарю из земного облика,
то ли тучею став, то ли облаком,
поплыву – то ли ввысь, то ли вдаль,
словно доли земной не жаль.
И оттуда, из выси той дальней,
вдруг прольюсь словно дождик печальный...
Ты подставь мне свои ладони —
нет печали светлей и бездонней.

«Ни к чему нам ветры странствий...»

Ни к чему нам ветры странствий,
поиск средств передвиженья, —
я ворвусь в твоё пространство
из пространства отчужденья.
Там глаза мне дорогие
и улыбка дорогая,
даже если там – другие,
даже если там – другая...
Дрогнут наши губы, руки
как тогда, совсем вначале,
словно не было разлуки,
словно не было печали.
Та же синяя безбрежность
высоко над головами...
И немислимая нежность
вновь возникнет между нами.
Что теперь нам ветры странствий
и диковинные страны —
я сама твоим пространством
стану...

Пятый угол

Один... два... три... Один, два, три...
И даже есть четыре,
четыре, как ни посмотри,
угла в любой квартире.
Но если боль, как тетива,
натянута туго,
и дышится едва-едва,
мы ищем *пятый* угол.
И если рядом с нами нет
подруги или друга,
в свой самый горестный момент
мы ищем *пятый* угол.
Наверно, в этом есть резон —
в родных пенатах
меняет *угол зренья* он,
тот угол *пятый*:
нам очевидней из него
наличие света
под небом дома своего —
своей планеты.
И потому в момент любой,
когда бывает туго,
ищите свой, ищите – свой,
ищите *пятый* угол:
в него сорваться, как в обрыв,
и там забыться,
и, *угол зренья* изменив,
вновь возродиться.
Один... Два... Три... Один, два, три
и даже – все четыре...
Четыре, что ни говори,
четыре, как ни посмотри,
угла в любой квартире.

«Не разлюблю Вас, дорогой...»

Кому? И всем, и – одному.

Не разлюблю Вас, дорогой,
любя другого.
Одна любовь любви другой —
всегда основа.
Всё – продолженье, с прошлым связь,
всё – шанс и опыт...
Настойчиво, не торопясь,
душа всё копит,
заносит всё, что суждено,
в свои скрижали...
И что когда-то – как давно! —
нас обожали
и обожали мы, но вдруг
вошла разлука
и, различив слиянье рук,
разъяла руки,
разъяла губы... И глаза
от боли слепли...
И жизнь – свечение и гроза! —
вдруг стала слепком,
напоминаньем о былом —
не боле,
безликой тенью, смутным сном,
осколком боли.
Стоп, память, выберись из тьмы,
сверши усилие,
ведь там любили нас... и мы —
о как! – любили.
...Да, всё – продленье, с прошлым связь,
и боль, и свет, всё – опыт,
тот, что душа, не торопясь,
для встречи новой копит.

«Стихи мои – мой выплеск, извлечение...»

Стихи мои – мой выплеск, извлечение
из подсознания... Тайный мой вердикт...
Стихи мои – моё предвосхищенье
всего, что только брезжит впереди.

«Полоска чёрная, полоска белая...»

Полоска чёрная, полоска белая,
полоски очень и очень разные...
Всевышний знает, что с нами делает,
в миг вдохновения рисуя красками.
И грустно будет нам, и будет весело —
всегда по-разному, как и назначено.
Но в этом, в сущности, суть равновесия:
а по-другому – как, а как – иначе-то?
Полоска чёрная, полоска белая,
полоски очень, ну очень разные...
Всевышний знает, что с нами делает,
в миг вдохновения тасуя краски...

Молитва

Снова утро, и я просыпаюсь...
Просыпаюсь и – рассыпаюсь.
Не вздохнуть... *«Только Ты не кори,
собери меня, вновь собери,
иль к утру от вечерней зари
сотвори меня... В н о в ь сотвори!
И с предутренным первым лучом
не жалеющая ни о чём
буду я Тебя благодарить,
жить, надеяться, мыслить, творить...»*

«Я и стихи. Мои. И между нами...»

Я и стихи. Мои. И между нами
свершается таинственное «нечто»:
читаю их – и вдруг... над облаками
плыву в просторе светло-бесконечном,
или, споткнувшись об одну строку,
отчаянно отплакав о прошедшем,
вхожу в иную, странную, страну
я, девочка с лицом похорошевшим.
Там власть отваги, юношеских грёз,
и каждый миг там – взлёт и откровенье,
живительная влага лёгких слёз —
там омовенье, просто омовенье.
Есть строки, где я грешною была,
и странною, и глупой, и смешною,
где спор с собой, измучившись, вела —
стихи мои и этого не скроют...
Ещё стихи... Я в них давно когда-то,
себя излив, легко дойдя до точки,
забыла, как всегда, поставить дату.
Они пусты, но эта... эта строчка,
всего одна... О, нет, я обойду
её тоски мерцающее пламя,
другой строкой осилю я беду,
прикрывшись, как щитом, её словами.
А есть стихи – как шрам, как вечный след,
не заметёт их ни песок, ни ветер...
Но впереди – соломинка и свет! —
строка, которой нет ещё на свете.

«О Бальмонте, точнее, о Бальмонте...»

О Бальмонте, точнее, о Бальмонте
мы с Вами говорили, не спеша...
Лежал на стуле свернутым мой зонтик,
но так была распахнута душа
моя – словам, таким неспешно Вашим,
таким проникновенным и простым,
что захотелось вдруг сказать «прости»
всему, что лишь вчера казалось страшным,
и всё принять как данность, и идти
босой, отважной, по колючим травам,
чтоб где-то там, на краешке пути
успеть сказать, не кончив фразы, «Ave...»
...Дождь за окном давно уже затих,
а мы всё льём слова свои простые,
мы – точки малые, мы – две души живые
на двух стезях – отдельных и своих.

«Жила я в этом мире как изгой...»

**Жила я в этом мире как изгой,
стараясь быть и мудрой и примерной...
И – сделала себя... сама... другой.
Всё хорошо. *Цена лишь непомерна.***

«Ко мне дойдёт сквозь сумрак плотный...»

Ко мне дойдёт сквозь сумрак плотный,
и я расслышу:
*«Душа, что не враждует с плотью,
мудрей и выше...»*

«Ну зачем же, зачем так истово...»

Ну зачем же, зачем так истово
рваться вдаль за неведомой Истиной,
рвать подпруги и струны души?
Не спеши. Не спеши. Не спеши...
Даже если так мало времени
Бог отвёл человечьему племени
и постылы мирские дела —
не спеши... Закуси удила.
Не гони себя, не подстегивай,
иногда – занимайся йогою,
в позе лотоса задержи
скорость мысли и темп дыхания,
и не думай о мироздании,
о себе и о нём не тужи:
есть что есть, чему быть – то будет,
даже если твой ум не добудет
ни единого зёрнышка Истины,
той, что ищут веками, истово...
...Только что это... там... впереди?
Отдохнул? Отдышался? Иди...

«Опадание...»

Опадание,
запустение...
Увядание?
Обновление!

Песня о дереве

Сколько жить отмерено —
не о том пою...
Подари мне, дерево,
силушку свою.
Силу пред морозами —
злыми – не дрожать,
силу – под угрозами
ствол прямым держать.
И сред бед немереных,
душу мне храня,
осени друг-дерево,
мужеством меня.
И, коль *светлой* песнею
жизнь я допою,
ты позволь мне, дерево,
лечь под сень твою.

«Пролейтесь, слёзы...»

Пролейтесь, слёзы...
Пролейтесь, слёзы.
Пролейтесь, слёзы! —
прошу у рока...
Как у берёзы,
как у берёзы,
как у берёзы —
целебным соком...

«Ах, эти странности...»

Ах, эти странности,
что посещают душу,
когда ей сразу —
холодно и душно...
А хочется ей
мягкого тепла
той осени,
которая прошла,
и летних дней,
где небо – в белых льдинах,
а ноги —
в теплых холмиках песка...
...И бабочек
на волю выпускать,
затерянных
меж складками гардинными...

«Не зови меня, смерть, не зови...»

Не зови меня, смерть, не зови,
В твой далёкий приют незнакомый...
Даже если без счастья, без дома, —
я жива – в горькой тени любви...
В полдень тень эта так коротка,
а к закату – темна и огромна...
И плывут надо мной облака,
и готовятся дальние громы...

«Первый диагноз – Жизнь...»

Первый диагноз – Жизнь...
Диагноз второй – Характер.
Не озаботившись крикнуть: «Ложись!»,
вершит он свои теракты.
Взрывает покой и сжигает мосты
меж самыми близкими душами,
и там, на осколках, среди маеты,
мешает и слышать, и слушать нам.
Характер – диагноз. Характер – судьба.
И, значит, нелепы протест и борьба.
Справляться с ним мыслью? Найтием? Нет —
он с нами вершит всё, что хочет.
Душа в круговерти свой след и свой свет
теряет... Характер – хохочет:
*«Я прав! Я силен, даже если я слаб!
Я – данность. Фундамент и крыша.
Решаю, что раб ты, и будешь ты – раб...
А принц ты – сошлю в нувориши...
Я сам в исполнение привожу
любые свои вердикты...
Решу – и смиреньем тебя награжу,
а нет – необуздан и дик ты.
Никто предо мною не исполин.
Лишь я – повелитель, лишь я – властелин!»*
Не буду, характер, бороться с тобой,
чтоб выиграть этот бессмысленный бой.
Бороться с тобой? Проиграешь – с е б е.
С е б е п р о и г р а е ш ь в неравной борьбе.
...Светает за окнами. Время вставать.
На столике рядом – перо и тетрадь.
Раскрою её – и по чистой строке,
чтоб слабой надежды ничем не спугнуть,
пройду, различая сквозь темень свой путь...
Омою ладони в прозрачной реке,
что видится-чудится мне вдалеке,
на берег присяду... Но всюду – одно:
зовущее, тёмное... Бездна иль дно?
Но в том-то, быть может, и выбора суть:
принять свой характер и – не утонуть...
Диагноз смертельный один только – Жизнь.
Держись за характер. Как можешь – держись...

P.S.

Но знаю (хоть редко об этом я вслух...) —
есть нечто сильнее характера... ДУХ.

К картине художника Малевича

Им – тяжело. Им тяжела их плоть:
их каменно свисающие руки,
глаза, отяжелевшие от муки
под веками, что как созревший плод
вот-вот опасть – и навсегда! – готовы...
Они – толпа, где каждый – только овен...
Точнее – стадо, где пастух – нужда,
безвременье и голод, и вражда
с собой и миром, к ним что глух и слеп,
что им – не дом, а тёмный хладный склеп...
Но им, живым, чей безотраден путь,
с пути того не суждено свернуть...
Судьбы своей ничем не побороть —
и потому так тяжела их плоть,
опущен взгляд и тяжелы их руки,
и замер дух, и неизбывны муки,
и новых сил ни в чём не обрести,
и взгляда от земли не отвести...

Немного софистики

Не знаю я,
куда меня несёт,
когда
в неведомую Лету кану я...
Но знаю твёрдо,
что во всём есть всё,
хоть есть во всём
и сущностное, главное.

«Не к живому плечу, а к дереву...»

Не к живому плечу, а к дереву
припадая, ищем опоры мы.
Всё, что нам изначально вверено,
оговорено нами, оспорено.
Мы спешим... И в неведомом беге
от себя, от себя убегаем...
Лето... Осень... И вот уже снега
на плечах наших медленно тают...
И так долго всё длится и длится,
что морщинисты стали лица,
что глаза от тоски потускнели,
свет не видя в конце туннеля.
Он – куда, этот бег с ускорением?
Он – откуда? От сотворения
мира, разума, рая, ада ли?
Мы бежим. Мы спешим... А надо ли?
Обогнали себя? Отстали?
Износили свои вериги?
Мы, пришельцы из дальних далей,
заигрались в земные игры.

«Давно сменились грозы на морозы...»

Давно сменились грозы на морозы...
Дожди и грязь, и слякоть – позади...
Я плачу, тихо сдерживая слёзы...
А может, стоит – криком изойти
и раз хотя бы нарыдаться вволю,
и молнии метать... И жгучей боли
на милость сдаться и сказать: *«Бери,
бери меня, что хочешь сотвори
с моим усталым, глупым, бранным телом,
надумаешь – в котле его вари
в своём аду... легко так... между делом...
Но душу... только душу отпусти!
О, Господи... прости меня... прости...»*
И вдруг судьба, кто знает, вдруг она
как меч, что не сечёт повинну голову,
нас бросит не в котёл, (где плавить – олово...),
а в кущи, где покой и тишина,
где неба синь прозрачна и ясна,
где нет зимы – лишь лето и весна,
прохладны реки и песчаны береги,
и живность, словно в Ноевом ковчеге,
довольна парой, избранной ей Ноем?!
Но... *мне* что делать с этой тишиною,
коль для души там – та же пустота
и суетность, и темь, и маета?..
О, боль моя!
Побудь ещё со мною...

«В свой день печальный, остальных печальнее...»

В свой день печальный, остальных печальнее,
подумалось мне горько и нескладно
вопросом, обращённым в никуда:
Что есть – и есть ли – у меня сегодня?
Сегодня, в *этом* дне, в отрезке жизни,
что мы зовём – семь разных букв – *сегодня*?
Что есть – и есть ли – у меня *сегодня*?
Вот эти комнаты, где лишь одно дыханье —
моё дыханье – движется вовне,
ни с чьим дыханьем не соприкасаясь?
Что есть – и есть ли? – у меня *сегодня*?
Вот эти комнаты, где я – наедине
с душой своей, так рано поседевшей,
хоть волосы мои – ты, зеркало, порукой —
ещё кудрявятся и сединой лишь брезжат?
Ах, это слово – *брезжат*... Мне словарь
синонимы подбрасывает щедро:
светлеют, развидняются... И вдруг... —
спасибо, слово! – вдруг в душе моей
светлеет, развидняется, и я...
...Дыханием дыхания касаюсь —
дыхания, любимого донельзя, —
пусть это только в памяти моей...
...И глажу мамы волосы седые,
хоть мама столько долгих-долгих лет
уже в другом, инаком измереньи...
...И что-то тихо сыну говорю —
о сыне сына, внуке моём взрослом,
которому исполнилось четырнадцать...
Я их так редко, очень редко вижу —
их жизнь проходит в городе другом...
Но как же мной, далёкие мои,
здесь и сейчас – о, как вы все любимы! —
да, в этот миг, сейчас, *сегодня*, нынче,
здесь, – в этой комнате, где лишь одно дыханье, —
моё дыханье! – согревает воздух...
...И вдруг звонок, звонок по телефону,
и цифры проступают на табло —
три... семь... и пять... и дальше, дальше, дальше...
И входит жизнь, живыми голосами
меня включая в дело, в состраданье,
в сотрудничество, сопереживание,
души моей обитель сопрягая
со всем, что *вне*... О нет, уже – *во мне*...
...*Светлеет. Развидняется. И я,*

проснувшись, торопливо заносу
стихи вот эти на листок бумаги,
вот эти мои *белые* стихи...
Они белы, но не наличие рифм,
(точней, отсутствие...) их делает такими,
не белый цвет бумажного листа —
в них *брезжит* утро, *брезжит* седина,
что в волосах моих не проступила...
Светлеет... Развидняется... Январь.
Начало года – как всему начало...

«Мечтаю!»

Мечтаю!
Обывателем!
Побыть!
Проснуться,
потянуться,
улыбнуться,
холодной водой ополоснуться
и, взяв топор, дровишек нарубить,
печь истопить, сварить борща и каши
(ну, вкуснотища! ешьте, знайте наших!),
полить герань на белом подоконнике
и вычитать в прабабушкином соннике,
что сон ночной – мне, безусловно, «в руку»,
и с легкостью и радостью, без скуки
убрать свой дом – свою планету малую,
пыль вытрясти из всех половиков
(пыль дня всего лишь, а не пыль веков...),
часок вздремнуть – спокойной и усталою,
с соседкою, проснувшись, поболтать,
морковину, что в долг брала, отдать...
Но вот – стихи...
С какой бы
это стати...
Мечтаю!
Обывателем!
Остаться!

«Давным-давно...»

Давным-давно,
в далёкой дальней дали,
до первого
рождения земного
черты мои
незримо проступали
во чреве материнском —
как основа
всех будущих
свершений и обид,
надежд и упований,
и раздоров,
реальных и надуманных
коррид,
где я была...
быком ли?.. матадором?
И только кровь —
по жилам и из вен —
была такой горячей,
настоящей,
что я рождалась
заново на свет,
навек с ним
пред этим попрощавшись...
...Давным-давно,
в далёком далеке,
как первый знак
рождения земного,
характер мой
без страха, налегке
из чрева —
материнского, родного —
входил в тот мир,
где Суть и Суета
полярны так
и так нерасторжимы,
где Истина
и Свет, и Красота,
как вдох, насущны
и – недостижимы,
где странники
безропотно приемлют
любые муки
и любые раны
в своём пути

к обетованным землям,
в своём пути
к неведомому храму.
...Пусть седина
клубится на висках,
и зной палящ,
и беспощадны ветры —
они идут
по медленным пескам,
идут в веках —
и с ними только вера.
И вдруг – травинка
там, внизу, у ног...
Кем, как, зачем
им явлена в пустыне?
И есть надежды
маленький росток,
и сердце утомлённое
не стынет...

«Всё исчезает, тает в свой черёд —...»

Всё исчезает, тает в свой черёд —
уходит дымкой легкой в мирозданье,
и, как всегда, острее расставанье,
чем радости нечаянный приход...
Да, всё пройдет. Всё то, чего ты ждёшь
так жадно, так коленопреклонённо...
И этот долгий бесконечный дождь —
надежда почвы, зноем иссушённой...
И постареет девочка, что ждёт
с прекрасным принцем встречи неременной...
Ну а пока – лишь на урок зовёт
её звонок на школьной перемене...
Ну а пока... Пока и ты не жди
ни расставаний, ни разлук, ни боли...
Всё зелено? Спасибо вам, дожди...
Ночь наступает? Пусть... А я дотопе
пройду по вечеряющей земле,
касясь взглядом медленных прохожих,
и мыслью полусонно-бестревожной,
и каждой клеточкой души своей и кожи
вберу в себя всё, что доступно мне
и так насущно, так необходимо:
вечерней свежести легчайших холодов,
воспоминаний медленный глоток,
звезды далёкой свет необъяснимый...

Воспоминание о прошлом

1.

...И волю дав душевному порыву,
мы сокращали имена любимых
до слога одного, нет, звука... нет – беззвучья,
в котором место лишь губам и боли
от наслаждения и... горечи той тайной,
что ведает разлуку впереди...

2.

...Ах, эта боль,
немыслимая боль
любви моей
мучительной, последней,
сжигающей,
как солнце в полдень летний
всё под собой.

...Она росла
(сжигая и светя...)
как скорость набирающее
скерцо...
А я её носила
как дитя —
там... глубоко... в груди...
под самым сердцем...

3.

Высоко (в моей памяти сирой...)
над закатом, над морем, над миром,
над моею бессонною лирой,
ты стоишь – бесконечно родной...
Отпусти меня, мой дорогой, —
отпусти
мою душу
с миром...

«Что-то снилось и снилось мне...»

Что-то снилось и снилось мне
в этом смутном, запутанном сне...
Я стирала, готовила, шила,
что-то сделать всё время спешила,
все цветы мне хотелось полить,
бисер весь на единую нить
нанизать, каждой бусинке дав
своё место в цветов сочетании...
И тогда уж, слегка приустав,
с книгой Фета прилечь на диване...
Всё. Закончены все дела...
И душа моя... вдруг... отошла...
Отошла – будто так и надо:
ни прощального слова, ни взгляда
напоследок... ни тени сомненья,
что пожить ещё есть настроенье.
Что-то хладное в тело мне дунуло,
и устроилось там не спеша,
и освоилось... но душа
(отошедшая...) вдруг – передумала...
*«Приюти меня, – просит она
моё слабое брренное тело, —
я ещё пригожусь, я нужна, —
без меня ты осиротело!
Без меня ты – ни то, ни сё:
крест свой, пусть он и весом с пушинку,
без меня ты не унесёшь...
И заигранною пластинкой
на одной зависая ноте,
погрязая в одной заботе —
как бы время своё продлить, —
будешь тлеть, прозябать и нить...»*

Без меня ты лишь дым от огня —

без меня... без меня... без меня...»
Ничего не ответило тело...
Не сумело? Да нет, не успело —
я проснулась... То солнечный луч,
раздвигая упрямяство туч,
совершая с утра разбег,
тронул сомкнутость моих век,
мудро мне подсказать поспешил,
что нельзя – ни на миг! – без души...
И взялась я с душой за дела —
всюду вытерла пыль и полы подмела,
и стихи написала... вот эти...
Ну а дел – за всю жизнь не успеть мне.
27 мая 2006

«Разве жизнь уходит в Никуда?»

Разве жизнь уходит в Никуда?
Нет, она дорогой остаётся,
что в другой судьбе тропинкой вьётся —
памяти тропинкой... Навсегда.
Навсегда? И та судьба – не вечна...
Только жизнью – память не избыть,
и она тропинкой – светлой, Млечной —
будет над Вселенною парить.

«В некий горький...»

В некий горький,
судьбою отмеренный срок
безвозвратно с тобою
уходят в песок
поцелуи, объятия,
родные глаза,
детский смех и улыбки,
друзей голоса,
упоенья счастливый
случайный виток —
всё уходит в песок...
всё уходит в песок...
Всё уходит в песок —
и святое, и шалое,
и счастливая жизнь,
и судьба захудалая,
непомерно огромное,
мизерно малое,
чем гордится душа
и что нужно замаливать...
Всё – мучительных мыслей
бескрайний поток,
и один, потаённый,
души уголок,
не доверенный миру, —
уходит в песок...
И родительский дом,
и Отечества дым,
всё, что было когда-то
живым и родным, —
всё вбирает песок,
как вбирает он дождь
или старую пару
истёртых калош,
как безвкусную воду
и жадно и грубо
поглощают за миг
пересохшие губы.

В некий горький,
судьбою означенный срок
наша жизнь
безвозвратно уходит в песок.
И песок тяжелеет,
вбирая в себя,

наши тайны и скорби...
А сам, не скорбя
и всему вопреки —
вдруг одарит теплом
чьи-то бранные ноги
на бреге морском,
и в песочницах
маленькой детской рукою
превратит вдруг себя
в нечто мило-земное:
то ли в снежный сугроб,
то ли в холмик горячий —
в то, что детской душе
так понятно и значимо...
И когда-то, когда-то
сквозь этот песок
вдруг пробьётся к живущим
зелёный росток
и сиянием алым
их уверит заря —
всё не зря, всё не зря...
Всё, что было, – не зря.
...Но всё так же, всё так же —
в положенный срок
всё уходит... в песок...
Всё. Уходит. В песок.

P.S.

Этот вечный тоннель
с обещанием света...
Этот вечный песок...
Брег песчаный...
И – вечная Лета.

Почти детское

- Бывает ли небо зелёным? – Бывает,
когда оно лес или луг отражает.
– А жёлтым, соломенным небо бывает?
– Да, если колосья к нему обращает
созревшее поле... – А синим? А синим?
– Конечно, конечно, всегда и доньше
цвет синий у неба так часто бывает...
– Но что же той сини ему прибавляет?
– Что? Море и реки, и гладь океана,
и это понятно и вовсе не странно.
– А если вдруг небо увидим мы красным?
– Нет-нет, мы не вспомним о крови и страшном,
ведь в жизни есть поле цветущего мака,
и бантик на шее любимой собаки,
случается, красен... – Однако... – Однако
быть красными могут и краски, и платья,
и бусы... всего не сумею назвать я.
– А если вдруг... чёрным... окажется небо?
– Да всё потому, что дождей долго не было
и полнятся тучи дождём благодатным,
что землю напоит... Понятно? – Понятно.

Наверное, все мы на это согласны —
и дети, и взрослые: небу – быть разным:
и синим, и пёстрым, и мрачным, и ясным,
и белым, как снег, и серебряно-серым...
Мы даже беззвёздному небу поверим,
мы даже согласны на небо ненастное —
лишь пусть поднебесью не будет опасным.

«Всех лет отраженье —...»

Всех лет отраженье —
на теле моём:
случайных тревог
и извечных сомнений,
ошибок, надежд,
постижений, крушений...
Не так ли стареет
от времени дом?
Но душу свою...
о, как я берегу!..
Её поселю —
на другом берегу,
на том, где дождями
земля не размыта,
и горные выси
снегами покрыты,
где так воедино,
так радостно слиты
надёжность, и высь,
и живые орбиты —
для мысли полёта,
для круговращенья
всего, что в природе
есть жизнь и движенье...
И в сердце
так тихо звучит, не спеша:
«Прости меня, тело...
Спасибо, душа...»
И – пусть на закате
всей жизни и дня —
два берега
было и есть у меня...
А меж берегами —
живое течение
любви и надежды...
И – свет вдохновенья.

«Когда-нибудь...»

Когда-нибудь,
когда – ещё не знаю,
и есть надежда,
что ещё не скоро,
свернёт к концу
стезя моя земная...
Но это мне
не станет приговором.
– Ну вот и всё... —
возможно, скажет Бог,
и взгляд его
сочувственен и строг,
и состраданием
тяжелеют веки:
– Вы... не жилец...
на этом свете...
Я – не жилец
на этом свете?
Я? Не жилец?
Или – не житель?
Но здесь
души моей обитель,
земным
я следую обетам,
здесь под ноги
ложится мне трава,
тернистый путь души моей
смягчая,
здесь близкие —
права я, не права —
мою неправоту
согреют чаем...
Здесь я живу
под сенью стольких муз,
и дуб мне под ноги
роняет жёлуди,
здесь тащит мне
огромнейший арбуз
мой брат
(ему нельзя носить тяжёлое)...
О сыне взрослом
(в городе другом...)
я помолчу:
он – жизнь моя, мой дом,
он весь – во мне,

так, словно я беременна,
со мной он —
вне пространства и вне времени...
...А всё, что мне
отмерено судьбой,
я принимаю,
не вступая в бой:
да, не жилец,
но спорить-то о чём —
свой дом земной
я не арендовала,
я в нём жила,
теряла, обретала
и, просыпаясь
с утренним лучом,
готовила обед
среди бела дня,
и женщиной была
среди многих женщин...
...«Здесь и сейчас» —
ещё *есть* у меня,
как и у всех —
не больше и не меньше.

Другая память

На антресолях памяти моей
такое непонятное творится...
Чего там только нынче не хранится —
на антресолях памяти моей!
Забытых лиц туманные черты,
холмов и гор высоких очертанья,
могильные подгнившие кресты
и крестики на детском вышиванье.
В причудливом смешении таком
не отличишь, что – важно, что – случайно...
Ну почему безносый этот чайник
возвысился над мраморным столом?
И почему вдруг медленная птица
в моё окно – шестнадцатый этаж! —
влетает, чтоб о мебель в страхе биться,
забыв полёта высший пилотаж?
Но есть *д р у г а я* – выше, строже! – память...
Она и в нас, и – выше, выше нас,
и к ней лишь, к ней, душою и губами
я припаду в последний, скорбный час.
Там образы родителей моих
светлы и благородно молчаливы,
там не ведут с химерами бои
души моей прекрасные порывы.
Там суть отделена от суеты,
там душу греет снежная позёмка,
до счастья там каких-то полверсты,
и брат седой там видится ребёнком.
И если близок мой последний час,
что ж, помоги, моя *другая память*,
твой тихий свет – сыновними губами! —
коснётся пусть моих бессонных глаз...

«День осенний. Тёплый, но не жаркий...»

День осенний. Тёплый, но не жаркий.
И к закату медленного дня
березняк в любимом лесопарке
тихим светом охватил меня.
Я касаюсь бережно коры,
а она меня – душевным соком...
Эти бескорыстные дары
мне продлят все земные сроки.
А когда не встану, не дойду, —
я представлю мысленно всё это,
памятью к березе припаду
и сольюсь с её корою светлой...

«Кормила уток в маленьком пруду...»

Кормила уток в маленьком пруду
остатками обеденного хлеба,
и общее над нами Солнце небо
бросало свет на общую еду...

«Всё – отдать... Всё сделать, что хотела...»

Всё – отдать... Всё сделать, что хотела...
С близкими навеки попрощаться...
И тогда, оставшись не у дела,
передумать вдруг... и – задержаться.
Обсудить обыденно-простое,
сделать то, что в силах сделать стоя,
полежать немного на диване —
без тоски, без боли, без желаний,
и, себя от всех не отлучая,
с сыном, с братом посидеть за чаем...
Так, держась за милое земное,
обрести желание покоя...

«Вижу – Время меня не лечит...»

Вижу – Время меня не лечит,
но, все боли мои притупляя,
молоком переполненный глечик
мне подносит, не проливая.
Пригублю, утоляя жажду,
полной грудью вздохну... И однажды,
распрямясь душою и статью,
всё, что *есть*, назову благодатью.

«Каждый день, каждый час, каждый миг —...»

Каждый день, каждый час, каждый миг —
(или всё это было с рожденья?) —
не снимая душевных вериг,
я свершаю своё восхождение.
Всё – мне в помощь. И всё мне – жизнь,
даже эта предзимняя слякоть,
что до самых морозов лежит, —
что ж, не грех иногда и поплакать.
И пробившийся первый снежок
(он не снег ещё – только снежинки...)
позовёт, как весёлый рожок,
на нехоженые тропинки.
Колокольчиком дальним звеня
где-то там, у незримых пределов,
свежий ветер отыщет меня —
мою душу и бренное тело —
и одарит прохладой лесов,
и берёзовым сокодвиженьем,
всеми силами вечных основ
помогая в моём восхождении.

«Там, в заоблачных высях бродя...»

Там, в заоблачных высях бродя,
позабыв о насущном хлебе,
я была человеком дождя
и при солнечном небе.
А теперь, в запоздалом «теперь»,
после стольких разлук и потерь,
я ловлю каждый солнечный луч,
что пробьётся на миг из-за туч.
Но жалеть ни о чем не могу —
я жила на *своём* берегу
и, доверившись странной судьбе,
я всегда возвращалась к *себе*.
...Трудный дар —
быть собою во всём —
я несла в себе,
даже не зная о нём,
но искала его
и на кругах земных —
среди тихих надежд
и немереных лих, —
и в заоблачных высях
витая-бродя,
позабыв
о насущном хлебе...
...Потому и была
человеком дождя
и при самом
безоблачном небе.

«Я в своём зазеркалье...»

Я в своём зазеркалье
зеркал не держу,
я в своём зазеркалье
живу-ворожу
и в его лабиринтах
неспешно блуждая
я собою себя
так светло ощущаю.
Там воздушные замки
мне – домашний очаг
и любимого руки
у меня на плечах,
там привольно дышу,
безоглядно люблю, —
там – любое мгновение
остановлю.
Там нет времени,
прошлого, прожитых лет,
там – иных измерений
таинственный свет.
А потом, а потом —
вот такие дела —
наступает пора
заглянуть в зеркала.
Но привычный, обычный
зеркальный овал,
что всегда так покорно
меня отражал, —
в своей глубине бездонной
с границей овальной
отражать начинает
моё зазеркалье...

Заканчивая этот раздел недавно появившимся на свет стихотворением, я вдруг вспомнила чувство – тревожное, тайное, глубинное, – которое всегда возникает во мне через какое-то время после рождения стиха. Сначала это – освобождение. От того, что рвалось наружу, требуя своего, отдельного от меня существования. Некая живая данность, созревшая во мне, готовая к самостоятельной жизни, моё дитя, моё детище, – очередное моё стихотворение... И вот оно есть, у него начинается своя, не зависящая от меня жизнь. А что, если... если больше никогда – ни строки? Вот она, тайная эта и неиссякаемая тревога...

Нет, я уйду от неё, уйду, сбегу... ну, хотя бы в свои ранние стихи... «Язычница я, грешница, земная...»...

...Язычница я. Грешница. Земная.
Я босиком по стеклышкам ступаю.

И ничего, не укололась даже.
И продолжаю – медленно и дальше.
Я только родилась. Мне так немного нужно.
Я только родилась. Вот – шаг. Еще шагну.
Навстречу – солнце, яркая игрушка,
к нему ладони медленно тяну.
А это – море, голубая зыбка.
Я вышла из него вот только, днём.
А этот камень – первая ошибка:
я посижу минуточку на нём.
И отдохнув, я зашагаю вдаль,
как с колыбелью, попрощавшись с морем, —
чтоб расшибить коленки, встретить горе,
побегать с прыгалкой, узнать на вкус печаль.
И чтоб понять, как мало, мало знаю
у мудрости на вечном берегу...
Но – грешница, язычница, земная,
опять по острым стёклышкам бегу.

«Девчонка в промокшем платице...»

Девчонка в промокшем платице
ловит весенние градины,
смеясь от счастья и холода,
подбрасывает их ладошками...
Скажите, какого цвета
бывает на свете радость?
Скажите, её руками,
наверно, потрогать можно?

«Бумаги лист —...»

Бумаги лист —
и эта ночь моя!
Быть может,
счастье нарисую я...
Не вспышку, нет,
а мягкий *ответ*, искорку,
и солнца диск —
ещё не высоко,
и девочка,
нелепая, как искренность,
по росным травам
ходит босиком.

Странное чувство вызывают эти ранние – неужели мои? – стихи... Как же не похожи они на те, что рождаются во мне сегодня. Но только ли годы – между ними? Не просто годы – целая жизнь... *Из прошлого пришедшие стихи... Язычества вчерашнего штрихи? Сквозь толщину лет пробившийся родник? Иль... Истины теряющийся лик?*

Материнское биополе

*Зачем мы в этот мир пришли?
Чтобы пройти с в о е й стезёй
от лона матери родной
до лона матери-земли...*

Перед рождением

– Мама, – подумала она, – я хочу к тебе, мама.

Мама не ответила. Не все мысли можно расслышать.

– Я хочу к тебе, мама, – она присоединила к своей просьбе легкое прикосновение.

Мама лежала и думала о чем-то явно постороннем.

– Мама, – повторила она настойчивее, – я хочу к тебе, хочу к тебе.

Мама перевернулась на другой бок, никак не отреагировав. Тогда она стала толкать маму.

Толкать и толкать...

Мама улыбалась, но позы не меняла. Неужели она ничего не слышит?

– Мама, мама, я устала быть в тебе, я хочу к тебе...

Мама выполнила ее просьбу. Но только через три дня, когда вмешались врачи.

– Больше ждать нельзя, – сказали маме врачи, – надо ускорять роды.

...Так она появилась на свет.

Спасибо, мама...

=====

«Сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, жены, – и один дорожке другому. И так цопко кровями все ухвачены, что расцепить – хуже, чем убить... А сверху глядеть – один ровный народ, и никто никому не дорог...»

А. Платонов. «Ямская слобода».

=====

*Маме в день восьмидесятилетия,
25 марта 1993 года*

Это трудный разговор, мама. За ним стоит вся моя жизнь, наша с тобой жизнь – такая, какой была, с её горькими и светлыми минутами, с её обретениями и потерями, со всеми её постижениями, дающимися нередко очень высокой ценой.

Нам нелегко было вместе, мучительно нелегко. И нужно было прожить почти целую жизнь, чтобы ответить на вопрос – почему мы, родные, бесконечно любящие друг друга люди, были почти несовместимы в те не годы, а десятилетия, что жили под одной крышей.

Зачем я затеваю этот разговор сейчас, на склоне лет твоих, да и моих, пожалуй, тоже? Что изменит он для нас с тобой? Не знаю. Быть может, он – лишь продолжение того внутреннего монолога (или диалога...), который звучал во мне долгие годы.

У меня взрослый сын, у сына – свой сын, жизнь продолжается, и мы вольно или невольно передаем следующему поколению эстафету разлада или единства, которыми пропитана душа наша. И происходит всё не в умозрительном далеке, а вот оно – здесь, рядом, в конкретной и осязаемой реальности сегодняшнего быта и бытия. Мы передаём эту эстафету самым родным людям, с которыми связаны *кровными* узами.

Как же важно не нарушить, не разрушить этой связи, потому что слаб без неё и отдельный человек, и все мы, вместе взятые. Родня, родные, род, народ... Нет, не отделить одно от другого, и дай нам Бог не разорвать этих уз.

...И вот я перебираю в памяти события сегодняшней и всей своей жизни, перебираю *всю себя*, и ищу, напряженно ищу корни свои, свои начала не просто в детстве – в тебе, мама.

Как тесно, как мучительно тесно мы жили! Дело не в том, что была у нас одна комната в коммунальной квартире. Теснота была другой, я долго этого не понимала, хотя и ощущала почти постоянно. Мне только-только исполнилось девять лет, брату – шесть, когда умер отец, и мы были вся твоя жизнь, которой ты отдавалась безоглядно и самоотверженно. Ты сузила её до любви к нам, и в такой очерченности нашего бытия мне не хватало впечатлений для ума и сердца, да и книг в те послевоенные годы в нашем доме было мало...

Мы жили почти наедине с тобой – гости приходили редко, да и тебе было не до походов куда бы то ни было: вечные вдовьи подработки в нелёгкое послевоенное десятилетие, скудный быт и гардероб. И не было у меня той среды, круга общения, в котором человек формирует и оттачивает себя, выбирает ориентиры. Я чувствую невосполнимость этого до сей поры.

А тогда я жила в полувывымышленном мире, и чем меньше событий было в моей повседневности, тем больше я заполняла себя мечтами, иллюзиями, почти идеальными представлениями о жизни. Об эти иллюзии и идеализм мне дано спотыкаться и по сей день.

Вечерами я, ещё совсем девочка, не могла уснуть, если в доме хотя бы тихо звучало радио. Мне казалось, что всё мне мешает, всё меня отвлекает. От чего отвлекает? То была еще не осознанная тоска по сосредоточенности и тишине, той, когда можно вслушаться в самое себя. Потом, уже взрослой, мне довелось прочесть, что у каждого – своя норма одиночества, и многое стало понятным. Тогда же я просто ощущала какой-то душевный дискомфорт, мне, почти постоянно обращенной в себя, не хватало тишины, молчания, возможности от всего отключиться, отодвинуться хотя бы на время.

Я хотела тишины, а ты, мама, если можно так сказать, жила вслух. Посмотри, как рано начинает темнеть, говорила ты мне. Знаешь, давай лучше эту вазу поставим сюда... Включу-ка я радио... Так пить хочется, чаю, что ли, согреть... Не забыть бы соли купить, кончается уже... Не забудь, я завтра приду с работы попозже... Ты говорила, а я старалась не слушать, не слышать, не обращать внимания. Я уставала от этой непрерывности и восставала против нее, но и втягивалась невольно, и начинала ловить себя на многословии.

Но что для меня было самым тягостным и болезненным – до отчаяния! – я никогда не была предоставлена самой себе. Ты ходила за мной почти тенью, участвовала в каждом миге моей жизни: все время советовала, помогала, поправляла, одобряла или укоряла, на что-то обижалась, с чем-то не соглашалась, рвалась заменить меня в любой житейской мелочи или откорректировать ее на свой лад.

В любую секунду нашей совместной жизни я находилась *под твоим взглядом*. Твоя оценка, твое измерение обволакивали, пропитывали, заполняли меня, не просто стесняли мое «Я», а почти стирали его, не давали проступить, проявиться... Я не умела, не знала, как этому противостоять, не обидев тебя, я старалась быть терпеливой, что получалось далеко не всегда, и я, увидев тебя расстроенной или обиженной, страдала еще больше.

Наша, почти трагическая, несовместимость была с нами всю жизнь. Скажу больше. Я, изначально, природно иная, отличная от тебя по характеру, по складу души, по темпераменту, по вкусам и устремлениям, – с каждым годом становилась все более похожей на тебя. Во мне проступали твои реакции на окружающее – быстрые, скоропалительные, импульсивные, которые мне не нравились, мешали в тебе, но трижды – повторенные во мне самой. Я ловила себя на суетливости и мнительности, на утомительном для другого участии в его жизни, многословии, и – ничего не могла поделать.

Я была уже почти твоей копией, почти тобой, мы становились одним целым, словно сросшиеся сиамские близнецы – родные, близкие до предела и так же, до предела мешающие друг другу жить *своей* жизнью.

Прости меня, мама, мамочка, дорогая моя, прости за то, что я веду этот разговор. Поверь – во мне нет и тени упрека, обращенного к тебе. Было как было. Человек такой, какой он есть, и он не может дать другому больше того, что есть в нем или у него. Ты отдала нам всё, что могла, – больше отдать невозможно. Но мне, сегодняшней, так нужно еще раз прожить, пережить – уже в себе – происходившее с нами...

Ах, мама, мама, как удивительно ты проявляешься во мне, как повторяю я не только твои поступки, характер, твоё мироощущение, но и – судьбу.

Ты – врач, и первым моим институтом, правда, всего на год, стал медицинский. Меня хватило понять – это не моя стезя.

Ты была второй женой у моего отца, то же самое повторилось и в первом, и в последнем моем супружестве. А ведь быть второй женой – не просто иная арифметическая последовательность событий, о нет... Это означает – почти постоянно находиться в полосе сравнения с другой женщиной, со всем тем, что было до меня. И не имеет значения, в чью пользу сравнение, сам факт такого подспудного «соперничества» – как груз, как пресс, отяжеляющие жизнь. И в чем только не подозревают вторую жену все и вся! А не корыстна ли? А искренна? А соответствует? И необходимость постоянного алиби – как путы, только не на ногах, а на душе.

Ты, мама, сумела сложить добрые отношения с дочерью моего отца, а через десятилетия моя душа, и на миг не усомнившись в том, что только так и можно, безоглядно рванулась к уже взрослым детям моего мужа. Мне мало было просто добрых отношений, я могла их любить, любила, дорожила каждым их шагом мне навстречу. И зачем, зачем всё это было в моей жизни, непомерно дорогой оказалась плата... Но сейчас – о другом.

Почему я так повторяю тебя, мама? Что это – наследственность, рок, судьба? Не знаю. Может, просто таким был круг моих ощущений, привычек, впечатлений? Всё казалось обычным, естественным ходом событий – так чему же тогда сопротивляться, за что избегать или не принимать такой порядок вещей... И даже вопроса в душе не возникало: может, иначе – лучше?

Да нет, душа и задуматься не успела в этой слитности существования с другой душой. Не успела, не смогла, и жизнь пошла, покатила, как трамвай по рельсам, как лыжник по проложенной лыжне. След в след.

...Долго, очень долго, мама, не могла я вырваться из замкнутого круга твоего притяжения. Я пыталась сделать это, пыталась отделиться в пространстве хотя бы физическом. Я уезжала из дома, от тебя – то в не очень далекий город на год учебы, то на год своего нескладного замужества в город подальше, то на край земли, на целое семилетие, после окончания университета.

И вновь дано мне было возвращаться.

Я уезжала и возвращалась, уезжала и возвращалась, и всё вновь двигалось по замкнутому кругу. А если так, то это означало: ограниченность, почти линейность моего существования: туда – обратно, туда – обратно. И никуда – дальше, и ничего – больше. Необходимо было не просто разъехаться, сменив место жительства и крышу над головой, необходимо было уйти внутренне. Внутренне отодвинуться, отдалиться, расстаться. Это было неизбежно, иначе нельзя было выстроить *свою* жизнь, сложить *себя* – иную, непохожую, отдельную.

В конце концов он произошёл, свершился – этот выход из чужого притяжения. Прости меня, мама, за слово «чужое». Материнское притяжение – разве это чужое притяжение? И на этот вопрос можно было ответить, только расставшись, только прожив отдельный, самостоятельный и непохожий на всё прежнее отрезок жизни.

Я прожила этот отдельный отрезок жизни, вместивший в себя пять лет позднего, нелегкого и счастливого супружества и два года (опять я повторяю тебя, мама...) вдовства. Это была *моя* жизнь, которую я сложила как могла, в ней были радость и горе, утраты и обретения, всё, что делает жизнь жизнью. И прожиты эти годы так полномерно, что их могло бы хватить на две долгих жизни.

И тогда-то – не раньше – в этой полномерности моего существования я только и смогла по-настоящему понять тебя, *принять всё в тебе*. В какой-то момент я вдруг обрушилась на себя: как же я могла раньше так думать, так жить... почему не попыталась изменить... отчего не смогла... Стоп. Уйти надо было и от самобичевания, от упреков и обвинений себе прежней... И лишь когда мне дано было понять и принять не только тебя, вчерашнюю, не только себя, вчерашнюю, а всё это наше общее «вчера», нашу прошедшую жизнь – такой, какой она была, – тогда лишь всё оказалось на своих местах. Было как было. Есть как есть. Я больше не воюю с прошлым, оно лишь живет во мне, оно лишь существует как часть моей жизни. Это мои начала – такие, какие были, и дай мне Бог сотворить их достойное продолжение...

Как избирательна наша память! Теперь мне вспоминаются иные эпизоды, иные детали быта и моменты давнего нашего бытия. Я будто заново слышу твои короткие, отрывочные, нечаянные рассказы о твоём собственном детстве, скудном, нескладном, и вижу, как трудно отделить, что – беда наша, а что – вина.

Вот ты рассказываешь о своей маме:

– Она всю жизнь даже не знала, сколько ей лет, запись в документах сделана со слов. Знаешь, что ей запомнилось? Когда умерла её мама, она очень горько плакала, соседи дали ей конфету, и она успокоилась...

Сколько же лет может быть человеку, если его в такой ситуации можно отвлечь вкусным угощением? Три, четыре, пять... А умерла моя бабушка, по тем же подсчётам, в шестьдесят лет, и было это в день окончания войны, девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года, и точность этой даты – вне сомнения. С бабушкой, уже потерявшей сознание, пытались поделиться радостью: «Победа, слышишь, победа...» Не услышала.

Не из того ли мгновения, поведанного мне тобою, мама, берут начало строки моего стихотворения, написанного через четыре десятилетия: «Я когда-то умру за мгновенье до счастья, за мгновенье до взлета застыну навек...» И не из того ли мгновения впитала я, вобрала в себя непреходящее чувство: жизнь и смерть, радость и горе есть всегда, в любом моменте бытия?

...А откуда, мама, во мне всю жизнь такое острое желание делать подарки? Никакие даты так не западают мне в память, как дни рождения. Услышу один раз, и на всю жизнь это уже во мне, и душа подспудно готовится – придумать что-то особое, поздравить, подарить, ощутив себя при этом счастливой.

Я помню, как трудно мы жили после смерти отца в нелегкое послевоенное десятилетие, но не было дня рождения у брата или у меня, не согретого неожиданным подарком, с трудом изобретенным тобою при недостатке хлеба насущного.

Помню я, как ты каждый год удлиняла наши детские одеяла – мы с братом подрастали, а о новых и думать было нечего. Но когда ты, врач, шла по вызову к своим больным, ты умудрялась еще что-то отнести и чужим детям.

Я и сейчас почти не могу выбросить никакую вещь – а вдруг кому-то пригодилась бы. И отдавать стараюсь осторожно, чтобы не обидеть, не задеть самолюбия. И всегда со мною, мама, от того предметного и нечаянного урока, сознание, что есть люди, которым труднее, чем тебе, и забывать об этом грешно.

Ловлю себя на том, что хочется ещё и ещё – с душевным теплом и признательностью – вспоминать прошлое, и, прикасаясь к нему, смотреть сегодняшним взглядом на то, что отстоит так далеко во времени.

Почему, почему, скажи, мама, добро, сделанное мне, любой знак внимания или участия – от чужих ли, близких, – всегда вызывает во мне такой всплеск, такой пережлёт благодарности? Мне лишь теплое слово сказали, проявили доброжелательность – а я душу готова отдать в ответ. Откуда это во мне?

Помнишь, мы смотрели фильм о войне. Маленькая девочка босиком бежит по летнему лугу, а рядом рвутся снаряды.

Ты отводишь взгляд от экрана и оборачиваешься ко мне:

– Во время войны, – ты говоришь медленно, словно подбирая слова и вспоминая, – годика два тебе было, так я в твоё платьице, у края кармашка, кольцо золотое зашила. Вдруг, думаю, со мной что случится или потеряемся, и возьмут тебя другие люди. Постирают платьице и найдут колечко. Пусть, думаю, им будет за доброту.

Это была благодарность в никуда, в будущее, в неизвестность, и благодарность не за что-то уже полученное, а за одну лишь надежду на участие, на возможность добра. У меня перехватило дыхание...

И кто знает, может быть, с той поры, когда ты впервые надела мне платье с зашитым в него кольцом, я просто пронизана, пропитана, почти физически, благодарностью всем и за всё, что может быть по доброму обращено ко мне. Спасибо, мама...

Но чему же тут удивляться? Всё так, как и должно быть: я была – в тебе, вышла – из тебя, что же удивительного в том, что и ты проступаешь во мне – чертами лица, походкой, складом души, характером – всей статью души и тела?

Да, и я, и все мы – выходим из материнского лона, и душа наша соткана из тех же тончайших и невидимых нитей, что и материнская душа. Но не узор еще это, нет, лишь основа, канва, на которой каждому предстоит выткать *свой* узор, ибо во всем есть своя изначальность. Но как во всем есть своя изначальность, так в любой изначальности есть возможность *своего*, неординарного, индивидуального выхода.

Долгие годы я хотела отделиться от тебя, мама, уехать, оторваться, жить своей жизнью. Теперь это есть у меня. Я пришла к этому высокой ценой обид, потерь, горя, нелегкой судьбы, невозможных утрат. Это есть у меня – моя отдельность, моя жизнь, моё измерение. И в этой жизни так много места для тебя, мама. И мне не нужно уезжать от тебя, и хочется быть с тобой, видеть, слушать тебя... Мы – вместе, живем мы под одной крышей или нет, раз узы нашего родства так нерасторжимы.

И в какой-то миг – его я так и не отыскала! – мне дано было понять: моё отношение к тебе, мои отношения с тобою – это и первый контакт с миром, и прообраз всех моих будущих взаимодействий, вся жизнь моя, в тебе начавшаяся, с тобой продолжающаяся. Такая, какая есть. Моя. Спасибо тебе за неё. Спасибо судьбе, что я успела тебе это сказать при жизни и что ты успела это услышать.

P.S. Этот материал – с согласия мамы – был опубликован в московском еженедельнике «Семья» в 1993 году. В 1999 году мамы не стало, и моё «Спасибо, мама», повторенное и в новом стихотворении, она уже не услышала...

Не могу не привести его рядом с моими, бесконечно для меня трудными размышлениями о материнском биополе. Стихотворение это – и благодарность всем матерям...

«Спасибо, мама...»

Светлой памяти мамы моей

Спасибо, мама.
Ты мне жизнь дала.
И ты была
такою, как могла.
Проходит время,
уводя от тризны,
но твой уход —
часть общей нашей жизни,
где свой расклад,
где сын, твой внук, со мною.
И суетно пред этим
остальное.
И память —
то тревожна, то светла,
ведь я была
такою, как могла.
Спасибо, мама,
ты *нам* жизнь дала.
А запоздало-горькое
«прости»
сама к тебе
смогу я принести.
...И дай нам Бог
при жизни обрести
сыновнее
«спасибо» и «прости».

Дочки-матери

САНА сидела на диване, рассматривая альбом с фотографиями. Увидев одну из них, неожиданно растерялась: эта девочка лет тринадцати-четырнадцати – она или мама? Сана перевернула фотографию, на обороте стояло: «14 лет». И всё. Она всматривалась в снимок и не находила ни одной приметы, чтобы определить, кто же это? Простая белая блузка могла принадлежать равно ей и матери, обе они носили почти одинаково короткие стрижки.

Она не понимала, почему, но ей так хотелось отличить себя от мамы на этом снимке. При внешнем сходстве, достаточно сильном, они ведь всё-таки два разных человека. Пусть близких, любящих, понимающих друг друга, но всё-таки разных – по возрасту, характеру, жизненному опыту. Да, они вместе и тяжело перенесли смерть самого родного им человека, но она теряла отца, а мать – мужа, что совсем не одно и то же.

Сана отчетливо помнила тот день. Ей исполнилось восемь лет, и на день рождения у неё собрались одноклассники. Дружной стайкой толпились они в углу гостиной, изредка поглядывая на празднично украшенный стол. Там хлопотала мама, раскладывая салфетки, поправляя скатерть и часто посматривая на часы. Сана тоже проявляла нетерпение – отец, всегда такой пунктуальный, задерживался.

Но вот, наконец, раздался звонок, все зашумели, и в комнату вошел отец. Он торжественно нес к столу огромный торт, украшенный малиновыми розами из крема, а букет таких же малиновых, но только живых роз левой рукой прижимал к торту. За два шага до стола он вдруг остановился, побледнел и стал медленно оседать на пол. Застывшая от ужаса Сана видела, как отец успел поставить торт на пол, рядом с собой, и упал с зажатыми в руке цветами... Было ему тогда тридцать пять лет.

Первое время они жили как потерянные. Были родные, друзья, но это ничего не меняло. Они чувствовали, что остались одни на целом свете, что теперь никто и никогда не сможет дать им прежнего ощущения прочности и надежности бытия... Общая утрата ещё больше сблизила их, но теперь, повзрослев, Сана понимала, что матери всё-таки тяжелей – женское горе не сравнимо с детским. Она видела, что не один год прошел до той поры, пока мама вновь смогла радоваться жизни и улыбаться.

Сана потрянула головой, словно сбрасывая внезапно нахлынувшие воспоминания, и снова стала всматриваться в фотографию – кто же это всё-таки? Много раз она спокойно держала её в руках, а теперь вот ей очень, очень нужно *отличить* себя от мамы... А может быть – *отделить*?

Она не отдавала себе отчета в том, что иногда ей становилось тесно в этой немыслимой близости с матерью, словно они не два отдельных человека, а один. Но ей уже не хотелось оставаться чьей бы то ни было «половинкой», хотелось обрести себя – независимую, самостоятельную, вольную распоряжаться каждым своим мгновением так, как захочется, – без объяснений и оглядки.

Но зачем, зачем ей это, если мама всегда так понимает её и никогда ничего не навязывает? Может быть... – она почувствовала, как ей стало жарко и кровь прилила к лицу – может быть, потому, что в её жизни появился... Евгений?!

ЕВГЕНИЙ подумал о том, как странно он познакомился с Саной. В тот день, вернувшись с работы и послонявшись часок по своей холостяцкой квартире, – недавно от него после официального развода уехала жена, с которой они прожили шесть бездетных и безрадостных лет, – он, неожиданно для себя, решительно вышел из дому. Просто так, побродить по городу. То ли устал от домашнего неуютта и одиночества, то ли просто захотелось движения – без цели, без необходимости покупать продукты или относить бельё в прачечную... Уже потом, вспоми-

ная происшедшее с ним в тот вечер, он не мог решить, что же подтолкнуло его тогда? Или – позвало?

Легкой походкой шел он по еще солнечным летним улицам, заглянул в парк культуры, побродил по зеленым аллеям. Он чувствовал себя в свободном полете – ниоткуда и в никуда. Увидев измазанного мороженым малыша, купил себе такое же «Эскимо» на палочке. Подошел к аттракционам и, немного потоптавшись у кассы, взял билет на колесо обозрения. Протянув билет контролеру, услышал: «На этот круг отдельной скамьи нет. Или ждите, или садитесь сюда, с девушкой».

С девушкой так с девушкой. Он сел, и колесо обозрения медленно начало подниматься вверх. Чувство полёта, овладевшее им ещё раньше, когда он бесцельно бродил по парку, продолжалось, наполняя его непонятным ощущением какой-то особой внутренней свободы. От прошлого, которое позади. От будущего, которого просто нет в данную минуту. Всё тягостное, что было в его неудавшейся женитьбе, отодвигалось вдаль, становилось меньше, незначительнее, призрачнее – как и люди, и кусты, и деревья, оставшиеся там, внизу, на земле, от которой его отрывал этот нечаянный аттракцион. Он вдруг понял, что глухая боль в его душе отмирает, уступая место равновесию, надежде на возможную радость.

Рядом раздался сдавленный звук, похожий на стон. Евгений, забывший, что рядом с ним девушка, обернулся. Бледная, стиснувшая кулачки, она смотрела на него расширенными от испуга глазами: «Я боюсь... это в первый раз... не знаю, зачем я...» Он легко коснулся ладонью её плеча: «Не волнуйтесь, это не страшно». А сам подумал: «Господи, словно ребенок испуганный». Ему захотелось помочь ей, как-то защитить... «Вы не смотрите вниз, – он обнял её за плечи, – успокойтесь, мы уже снижаемся». Девушка не высвободилась из его рук, какое-то время сидела, словно натянутая струна, но потом он увидел, что она успокаивается. Ему показалось, что и в нём что-то меняется, что в его жизни теперь всё на своих местах: и продолжающееся ощущение полета, и непривычное, вернее, давно забытое чувство душевного равновесия, и девушка эта, которую он обнимает, не зная даже её имени.

Они стали встречаться. Вечерами бродили по августовскому городу, ели мороженое, иногда заходили в кинотеатр на первый попавшийся фильм или потягивали коктейль за столиком, расположенным на свежем воздухе.

Евгений был старше Саны на десять лет и нередко думал о том, что же тянет его к этой шестнадцатилетней девочке, почти ребенку? Тоненькая, выше среднего роста, она иногда выглядела нескладным подростком, но иногда... В нечаянном жесте или повороте головы, в доверчиво-мягкой улыбке, в том, как она маленькой ладошкой вдруг погладит кору старого дерева, – во всём проступала такая трогательная, только-только пробуждающаяся женственность, что у него перехватывало дыхание. Он видел, что и она тянется к нему, и почти безоглядно примет всё, что он сможет и захочет ей дать. Он замечал, что ей нравится разница в их возрасте, – это придавало ей вес в собственных глазах, она чувствовала себя старше, сильнее, уверенней. Девочка, рано потерявшая отца, – она сама рассказала ему об этом, – видимо, подсознательно искала в своем избраннике надёжность и опору. И в то же время она во многом оставалась ребенком – могла шутить, баловаться, смеяться, могла, как трехлетний малыш балансировать по кромке тротуара. Она никогда не серьёзничала и, видя, что Евгению это нравится, готова была упоённо смеяться по каждому пустяковому поводу.

В конце вечера он провожал её домой. За десяток шагов до своего подъезда она неизменно начинала прощаться. «Что, мама строгая?» – как-то поинтересовался он. «Нет, я живу со старшей сестрой. Она врач, работает на „скорой“. Её зовут Тина». Ну что ж, сестра так сестра, его это не особенно волновало. «А на чаёк меня пригласишь?» Сана отрицательно покачала головой. Нет так нет – ему было легко и радостно с этой девочкой, и он не торопился ничего менять в их отношениях.

За несколько встреч Сана ни разу не пригласила его к себе. Он и не настаивал – кто знает, что за отношения у неё с сестрой. «Тина, Ти-на... странное какое-то имя», – подумал он и сразу забыл об этом.

ТИНА лежала в постели, готовясь ко сну, и думала о том, как удивительно близки они с дочерью. Как две подруги, которым хорошо вместе и которые всегда находят, о чём поговорить. И внешне они похожи, да и разница в возрасте минимальная, если речь идет о матери и дочери. Теперь их часто принимали за сестёр: в свои тридцать три года Тина выглядела на двадцать пять, а Сана – Саша, Сашенька, Александра, названная так в честь отца, казалась старше своих лет.

...Тина познакомилась со своим будущим мужем, когда училась в девятом классе. Александр был старше её на десять лет, работал на кафедре иностранных языков одного из столичных вузов и по совместительству вел кружок английского языка в её школе. Их роман был яркой сенсацией на фоне четкой размеренности школьных будней и вызвал множество криво-толков. Шестнадцатилетняя Тина прошла сквозь всё с высоко поднятой головой, ослепленная первой своей самозабвенной любовью. Через несколько месяцев она поняла, что беременна, но и это не заставило её опустить голову: ни на один миг она не ощутила страха быть обманутой и брошенной...

С возрастающим беспокойством Тина вспомнила недавний разговор с дочерью.

– Тина, сестрёнка, – окликнула её Сана из ванной комнаты, и Тина, уже улёгшаяся в постель, насторожилась: именно так, шутя, начинала дочь разговор, если хотела скрыть неловкость или чувствовала себя в чём-то виноватой.

То, что они походили на сестёр, нравилось им обеим, и они частенько пользовались этим, представляясь сёстрами, устраивая весёлые розыгрыши людям незнакомым. Это ещё больше сближало их, и даже дома Сана с шутливой теплотой обращалась к ней по имени. Так и на этот раз. Окликнув мать из ванной, Сана через мгновение прибежала к ней, распаренная, в синем махровом халате, с мокрыми волосами, взобралась на постель и приткнулась бочком, поджав коленки.

– Знаешь что, Тинуль... – А в глаза не смотрит. – Знаешь, я... – И пауза. – Я хочу тебе сказать... Только ты не волнуйся, я сейчас сразу скажу. Я... Я влюбилась.

– Знаю, – спокойно ответила Тина.

Глаза у Саны округлились.

– Да, знаю, и догадаться об этом не столь уж трудно. По твоему ежевечернему отсутствию – раз. По твоим постоянным недомолвкам – два. По усиленному вниманию к одежде – три... Это случайно не Антон, что без конца звонит тебе по телефону?

– Нет, – тихо ответила Сана, – это Евгений.

– Евгений? Я не помню никого с таким именем.

– Да, – тихо сказала Сана, – это очень редкое имя. – И замолчала.

Молчала и Тина.

– Что ты молчишь, мамочка?

– Я молчу? – удивилась Тина. – Рассказывай, я слушаю.

– Его зовут Евгений. Он инженер. Он работает в конструкторском бюро, на заводе. И он старше меня на десять лет. Да-да, как было у вас с папой. И он похож на папу, и у нас всё будет так же, как было у вас... Он... Я вас скоро познакомлю. Он такой... Я... – Сана остановилась, ощутив, что взяла весьма сильный разгон, а сказать ей больше нечего.

Тина гладила ее по мокрым волосам. Гладила и гладила.

– Хорошо, моя девочка. У нас будет время поговорить.

Материнское «девочка» вмиг сделало Сану маленькой и сонной. Она перевела дыхание, успокоенно зевнула, потянулась и ушла спать.

САНА проснулась с каким-то непонятным ей самой чувством. Но, вспомнив обращенное к ней вечером материнское «девочка...», ощутила нечто похожее на раздражение. Вот и Евгений, бережно целуя её в волосы при расставании, нередко говорил: «На сегодня всё, девочка, мне завтра надо пораньше на работу». Она понимала, что это отговорки, а суть именно в том, что она «девочка», что ей всего шестнадцать, и Евгений боится или не решается проявить свои чувства. Её обижала его сдержанность, так хотелось каких-то особенных слов, за которыми не только теплота и нежность, но и любовь, и даже страсть. Потому что сама она жила только во время встреч с Евгением: всё, что оставалось вне этих встреч, было для неё почти незаметным и несущественным, – так, время, которое надо скоротать. Только присутствие Евгения давало ей ощущение настоящей жизни, в которую она включилась так полномерно. И она взволнованно вбирала в себя каждый миг этой новой, почти взрослой, неожиданно открывшейся ей жизни. Одно лишь вызывала досаду: «Девочка... Они все считают меня маленькой...» В этом «все» она впервые объединила в своем сознании мать и Евгения. Объединила с обидой, словно провела черту между ними и собой.

...Она резко вскочила с постели и побежала в ванную умываться. И во время завтрака, и по дороге в школу, и на уроках она думала об одном: «Всё, хватит. Я люблю его. Люблю. И я уже не ребенок. Сегодня я пойду к нему домой... Вот так-то, Женя, Женечка, Евгений. Ты увидишь, что я уже взрослая».

ЕВГЕНИЙ посмотрел на часы – было семь тридцать вечера. Они договорились встретиться в семь, но Саны не было. Позвонить ей? Нет, решил, подожду. Давая ему телефон, Сана предупредила: «Только на крайний случай». Но сегодняшний день на крайний случай никак не походил.

Он вдруг различил её – вдалеке, в толпе прохожих. Не пошел навстречу, а остановился и стал ждать. Она мягко, медленно приближалась к нему – милая, тоненькая, чуть смущенная его взглядом.

– Извини, у Тины что-то случилось на работе, и она ушла в ночную смену. Я помогала ей собираться.

Он смотрел на Сану и видел, что она встревожена. Нет, не из-за сестры, – в этом он почему-то был уверен.

– Что мы сегодня делаем? Ты не хочешь куда-нибудь пойти? Может быть, на концерт...

– Нет, сегодня мы только гуляем. – В её словах была непонятная ему напряженность.

Вечер был непохож на остальные. Сана не подхватывала шуток, не иронизировала. Он чувствовал – она думает о чём-то своём.

– Ты сегодня такая серьезная, – сказал он, – я тебя даже немного побаиваюсь.

Впервые за вечер она рассмеялась: «Я себя тоже боюсь».

Позже он проводил её до дома, простился.

– Нет, – сказала она, – сегодня я провожаю тебя.

– Хорошо, – легко согласился Евгений, – а потом я тебя.

– Посмотрим, – она засмеялась снова. Они дошли до его дома и быстро, словно предупреждая возможность отказа или иного поворота событий, Сана попросила:

– Мне хочется чаю, – и насмешливо пригрозила, – не смей мне возражать.

Они пили чай и слушали музыку, разговаривали. Включить танцевальную музыку он почему-то не решался. Он понимал, что Тины нет дома и Сана не торопится. В нём нарастало смятение, страстное желание обнять, прижать к себе эту девочку и вместе с тем – страх: «Что же это я, она ведь совсем ребенок! Нет, я не обижу, я не могу её обидеть...»

Сана сидела тихо, почти присмирив под его взглядом. Но смирение было только кажущимся. Она была вся – ожидание. Только ожидание.

На какой-то миг молчание затянулось, и первой не выдержала Сана. Она встала из-за стола, почти вплотную подошла к Евгению и подняла на него глаза. В них было столько тревоги,

любви, ожидания, надежды, что он не выдержал, рванулся к ней, подхватил на руки, прижал к себе: «Девочка моя... Дорогая...»

Она услышала только «дорогая» и успела подумать, что, наверное, отец вот так держал на руках мать, когда объяснялся ей в любви, и так же держал на руках её, когда она была совсем маленькой. Но теперь она взрослая, теперь всё иначе – её любит настоящий мужчина, и сейчас он, как отец маму, унесёт её не просто в другую комнату, а в другую жизнь...

ЕВГЕНИЙ чувствовал, как податливы и беспомощны её губы, как вздрагивают от каждого его прикосновения её по-детски угловатые плечи, и что-то в его душе стучало – остановись, остановись. Остановись, еще не поздно.

Поздно. В нём уже не было страха, потому что страх – это мысль о будущем, у него же было только настоящее в лице этой девочки, трогательно неловкой в каждом своём движении.

Потом они тихо лежали рядом и молчали. Он понимал, что должен сказать ей какие-то слова, успокоить... Но слов не было. И он гладил и гладил её по голове. Молчала и Сана. Молчала и потом – всю дорогу, пока он провожал её домой. Одна мысль неотступно билась в ней – он не сказал, что любит её... он ничего не говорил о любви...

Прощаясь, Евгений мягко обнял её за плечи, чуть склонившись, тихо сказал: «Всё будет хорошо. Ты ничего не бойся. Это всегда так трудно вначале...»

Он видел, как она поспешно и согласно закивала головой, как задрожали её губы, как закрылась за ней дверь. И странная мысль вдруг обожгла его: «Что я скажу её сестре?»

Почему-то он уже чувствовал себя виноватым. И как-то невпопад, уже не в первый раз подумал: «Странное всё-таки имя – Тина».

ТИНА, вернувшись под утро с ночного дежурства, первым делом заглянула в спальню дочери. Была суббота, и Сана спала. Тина уже хотела пойти к себе, но что-то заставило её пристальнее всмотреться в дочь. Сана лежала в не обычной для неё позе, сжавшись в комок, и тихо постанывала во сне. Тина коснулась рукой её лба, потного, с прилипшими прядями волос, но нет, температуры не было. Тогда она оставила записку на стуле: «Посплю до двенадцати, страшно устала. Надеюсь, всё в порядке? Ты собрала вещи?»

В этот вечер Сана с одноклассниками уезжала на трёхдневную экскурсию в Ленинград. Тина знала, как мечтала Сана о поездке, радовалась за дочку. Но сейчас у неё хватало сил только добраться до постели.

Проснулась она от странного ощущения, что кто-то смотрит на неё. Открыла глаза – у постели стояла Сана.

– Ты проснулась, мамочка? – Спросила она и села рядом, уткнувшись в материнское плечо. Тина почувствовала, как плечо стало мокрым и горячим.

– Сашенька, что ты? Что с тобой, девочка моя?

Сана мгновенно отодвинулась, оторвалась от неё:

– Я не девочка, не девочка! Я взрослая! – Она почти кричала. – Но только он... Он меня не любит! Я думала, у нас всё будет, как у тебя с папой, а он... Он меня не любит! – И зарыдала с такой детской безутешностью, что Тина буквально оцепенела. Но только на короткое мгновение.

– Неправда, – тихо и очень уверенно сказала она, – это неправда.

Сана взрогнула, беспомощно всхлипнула и мгновенно затихла, прислушиваясь.

– Ты ничего ещё не можешь знать. Потом, когда ты захочешь, мы поговорим с тобой обо всём подробно, а пока просто послушай меня. Любовь может придти в первый день или в первую ночь, или через год, или не придти никогда. Ты ещё не в силах понять, что происходит. Я тебя прошу – не спеши ни отчаиваться, ни делать выводы.

Она говорила ровным уверенным голосом, а сама вытирала лицо Саны краешком простыни. Потом увела её в ванную: «Смывай слёзы и собирайся в дорогу. Ты так ждала этой поездки – не омрачай её ненужными сомнениями».

Уехала Сана около восьми вечера, а до этого они вместе завтракали, делали какие-то нехитрые домашние дела, собирали её вещи, потом обедали, а за ужином даже пригубили по глотку вина:

– У тебя всё будет хорошо, доченька...

Имени Евгений никто из них не произнёс до той самой минуты, как за Саной захлопнулась дверь. Оставшись одна, Тина почувствовала себя неудобно. Она слонялась из комнаты в комнату, переключившись с места на место вещи. Потом поняла: это не поможет, порядка нет в ней самой. Она села в кресло, сложила руки на коленях: «Всё. Хватит дёргаться. Я пытаюсь понять, что произошло...»

Да, дочь переживает первую любовь, это очевидно. Но почему такой резкий перепад в настроении? Что могло случиться – они поссорились или она увидела его с другой... Дальше подобных весьма элементарных предположений мысли не шли. Оставалось надеяться – может быть, там, в поездке, с друзьями, Сашенька отвлечется и ей станет легче. Знать бы этого Евгения, можно бы поговорить с ним...

ЕВГЕНИЙ ругал себя: как мог он, взрослый, зрелый человек, знавший, какими бесконечно сложными могут быть отношения между мужчиной и женщиной, – как мог он пойти на поводу у этой девочки, не успевшей даже задуматься, к чему могут привести подобные встречи! Нет, это он, он обязан был думать, а не терять голову, словно мальчишка. И хоть он ей ничего не обещал, он не мог не понимать, что для влюбленной девчонки всё – обещание: и обращенный к ней нежный взгляд, и частые встречи, и каждое прикосновение, не говоря уже о поцелуях и объятиях.

Но ведь он не фальшивил, его тяга к Сане была сильной и искренней. Оправдание выглядело весьма слабым, и он продолжал казнить себя. Да, ему хорошо вместе с этой девочкой отходить от своих прежних неурядиц, и порою казалось, что именно она – и есть его судьба... Но подобное настроение быстро отступало, и он снова плыл по течению, не особенно задумываясь о возможных последствиях. Да и зачем – жизнь сама расставит всё на свои места.

Но случилось иначе. Бесстрашием своего неведения, наивной безоглядностью эта тоненькая девочка-полуребенок спутала все карты. Да и не игра это была для неё, а жизнь. Он же... Ну почему, почему именно он оказался на её пути? И то, что ему нужно было перед самим собой отвечать на этот вопрос, отодвигало его от Саны.

Теперь же, вне всяких сомнений, её нельзя оставлять одну. Да и мало ли какие отношения у неё с сестрой. Позвонить, что ли... Он посмотрел на часы – было восемь вечера. Не прошло и суток, как он расстался с Саной. Он набрал нужный номер, услышал незнакомый женский голос.

– Здравствуйте, можно Сану? Я – Евгений. А вы, как я понимаю, её сестра Тина?

– Да, Тина – это я. Приходите, думаю, нам пора познакомиться.

Встреча втроём отнюдь не входила в его планы. Ему хотелось увидеть Сану один на один, поговорить, поставить всё на свои места, успокоить. А что они будут делать втроём – вести полусветский разговор ни о чём? Или её сестра такова, что возьмет и спросит о его намерениях – вот так, напрямую, без особых церемоний? Вряд ли, конечно, всё-таки врач и, скорее всего, интеллигентная женщина. Но, может, она старая дева и прямолинейна, как... Впрочем, что гадать, от приглашения уже не уклониться.

– Спасибо, сейчас приду.

За всю долгую последующую жизнь Евгений так и не решил, переступил бы он порог этого дома, зная о том, что произойдёт в тот вечер...

Через двадцать минут он был у знакомой двери. Ещё через две минуты, познакомившись с Тиной, с удивлением узнал, что Сана в отъезде, – от неё он ничего об этом не слышал. Еще через минуту сказал Тине, что она – настоящая красавица, а её младшая сестра – чрезвычайно милая её копия. Поймав при этих словах несколько странный взгляд, который никак не мог

себе объяснить, легко согласился на предложение вместе поужинать. «Так нам легче будет», – пояснила Тина. Он понял: легче преодолеть неловкость, неизбежную в начале любого знакомства.

Они сидели за столом и разговаривали – обо всём и ни о чем. Потом он решился:

– Как случилось, что вы с Саной живете без родителей? Отец, я знаю, умер.

– Так получилось, – поторопилась уйти от ответа Тина, и он не настаивал.

...Пройдет год, два, десять лет, Евгений забудет всё, что говорил в тот вечер, но будет помнить – каждой клеточкой своего существа – эту сидящую перед ним молодую женщину. Он смотрел на неё и не мог оторвать взгляда. Это была Сана, но только повзрослевшая, ставшая пленительно женственной, с мягким, глубоким, всё понимающим взглядом. Это была женщина, о которой он мог только мечтать – встретить её в жизни было почти нереально. В каждом слове её, каждом жесте, каждом повороте головы ему виделась удивительная гармония. Она вела себя на редкость непринужденно и свободно, и в то же время в ней ощущалась сдержанность, почти отстраненность. Она умела – без малейшего напряжения – держать дистанцию. Она умела быть хорошим собеседником, оставаясь при этом весьма немногословной. Она умела слушать. Она...

Евгений вдруг понял, что это и есть – *Она*. Та, единственная, что может составить счастье всей его жизни. И в ту же секунду, когда он понял это, его захлестнуло отчаяние. Слишком поздно. Он опоздал. Пусть всего на одни сутки, но он непоправимо опоздал. Даже если Сана ничего не успела рассказать сестре. Он сам, сам лишил себя права на счастье, сам сломал свою жизнь. И, быть может, не только свою.

Ему вдруг захотелось встать и уйти, убежать, раствориться в сумятице вечерних улиц, затеряться в этом бесконечном и несправедливом мире, в котором он терял любимую женщину, едва познакомившись с нею.

– Вас не обидит, – он встал из-за стола, если я вернусь через час? Мне надо уйти.

– Хорошо, – сказала она, – я понимаю.

Он посмотрел ей в глаза – это было непостижимо, но она действительно *понимала* его.

ТИНА, не хлопывая, чуть прикрыла дверь за Евгением. Пусть войдёт без звонка. Без предупреждения. Только бы он вернулся. Только бы за этот час не произошло ничего, что помешает им увидеться. Хотя бы один раз. В ней всё словно замерло. Хотя бы один раз. Иначе жизнь в ней остановится, как остановилось сейчас время, посвящённое только ожиданию.

Она не обманывала себя, она ясно и отчетливо понимала, *что* произошло.

Семь лет после смерти мужа она жила, однозначно решив для себя, что её личная, её женская жизнь закончилась раз и навсегда. С ней будет только её дочь, её Сашенька – плод её первой и последней любви. Никто и никогда не заменит в её сердце безвременно ушедшего мужа. Но это случилось – неожиданно для неё самой. Человек, о котором она привыкла думать как о первой любви своей дочери, поразил её с той минуты, как переступил порог дома. Он показался ей до боли знакомым. Она заговорила с ним так, как говорила бы с Александром. Как говорила бы сама с собой. Всё в ней было открыто его взгляду – он смотрел на неё так, как раньше смотрел только муж. Она невольно поддалась той уверенной мужской силе, которая исходила от него. То же самое, видимо, произошло и с Саной. Но даже эта мысль, мысль о дочери, ничего уже не могла изменить. Это был дар судьбы. Оставалось только привыкнуть к имени Евгений.

ЕВГЕНИЙ понимал, что время, которое он выговорил себе, ничего не изменит. Он лишь переведет дыхание. Он уже отдал себя этой женщине, которую видел считанные минуты и ждал всю жизнь. Быть может, и к Сане его потянуло лишь потому, что в ней он предчувствовал ту, другую? Но сейчас это не имело значения. Как и всё остальное – всё, что не Она.

Через какие-то мгновения он вернется к ней, уже ожидающей его, – он почему-то знал это. И скажет... нет, он не будет заранее искать слова, они придут к нему, единственно возможные, когда он обнимет эту женщину. Ему остается только привыкнуть к её имени. Ти-на...

ТИНА знала: если он придет – он придет к ней, только к ней. Их поразила одна и та же болезнь, стремительная и внезапная, одно и то же сумасшествие, от которого нет спасения, от которого не уйти, потому что оно в нас.

И она ждала. Она не готовилась ни к защите, ни к нападению. Женское чутьё подсказывало ей, что они оба одинаково беззащитны перед происходящим. Сопrotивляться бесполезно. Будет что будет, что бывает между мужчиной и женщиной, нашедшими друг друга в этом огромном мире, где легче разминуться, чем встретиться. Всё, что было и есть в их жизни, отодвинется на время встречи. Так было у неё с Александром. Неужели повторение возможно?

Она села на диван, откинулась на его мягкую спинку и погрузилась в воспоминания.

После свадьбы и после рождения дочери муж относился к Тине с той же трогательной заботой и вниманием, как и в первые месяцы знакомства. Она вспомнила, как однажды вечером держала трёхмесячную Сашеньку на руках, а муж подошел, бережно поднял обеих на руки и начал носить по комнате: «Девочки вы мои...»

С той поры минуло шестнадцать лет, но она вдруг явственно ощутила, – и это было как наваждение! – что сильные мужские руки подняли её с дивана и бережно прижали к себе:

– Ну что, Тинушка, вот и я...

Это был голос Евгения.

Наваждение кончилось. Или – только начиналось?

ЕВГЕНИЙ не удивился, что дверь была открыта, когда он вернулся. Его уже ничего не удивляло. И когда он поднял её на руки и сказал: «Тинушка, вот и я...», его встретил взгляд женщины, долгие годы ждавшей и, наконец, дождавшейся этой встречи.

– Ты знаешь, – он заговорил быстро, почти лихорадочно, будто слова давно жили в нём и переполняли его, и если их не произнести, они перекроют ему дыхание, – знаешь, этот час был как целая жизнь без тебя. Но теперь мы вместе, нам не нужно расставаться. Я хочу быть только с тобой. Возьми меня в свою жизнь. Я буду тебе всем – мужем, братом, другом. Я буду смотреть по ночам, как ты спишь. Буду по утрам подавать тебе тапочки, встречать тебя с работы. Я буду отцом твоих детей. Ты только прими меня. Только прими, и я всё смогу в этой жизни...

Он носил её по комнате, а она лишь улыбалась и кивала ему: «Да-да, конечно... Я знаю... Я верю тебе...» И обнимала его за шею.

Он отнес её в спальню, и ночь показалась им несправедливо короткой. И было утро – продолжением ночи. И был день – продолжением ночи.

– Сегодня уже воскресенье, – отдыхая в его объятьях, тихо сказала Тина.

– Да, – радостно подтвердил он, – воскресенье. Это наше с тобой *воскресение*. Из пепла. Из небытия. Для новой жизни.

Она молча слушала его. Как же она умела слушать!

Около шести вечера они встали поужинать. Он смотрел, как Тина в лёгком халатике, наброшенном на обнажённое тело, легко скользнула в душ, оттуда в кухню... Через полчаса они уже садились за стол. Это был второй их ужин, но ему казалось, что они прожили вместе целую жизнь, и это их вечернее застолье – одно из многих за долгие и счастливые годы.

И была вторая их ночь, такая же неотвратимая, как первая... Заснули они почти под утро. Уже проваливаясь в сон, Евгений почему-то представил девочку, очень похожую на Тину, которая медленно и понуро идёт по чужому городу.

САНА шла по городу, знакомому ей по множеству восторженных рассказов, красочных открыток и репродукций, касалась рукой его причудливых чугунных оград и ловила себя на странном отчуждении всему и вся, на том, что город этот ей сейчас не нужен и неинтересен.

Её давняя мечта побывать здесь рассыпалась ещё до того, как она села в поезд. Рассыпалась даже не мечта, рассыпалась, раскололась на мелкие осколки душа её – под ударом, который она скорее ощутила, чем смогла до конца осознать.

А город был ни при чем. Он оставался всё тем же, это она... она была другой, исключенной, выпавшей из привычного измерения, не понимающей, почему произошло то, что произошло, и почему она ощущает себя отвергнутой. Где-то в глубине её жила мысль, которую она боялась даже додумать, но та проступала всё настойчивее: Евгений не любит её. Она поспешила навстречу *своему* чувству, не заботясь о том, что чувствует он. Её погубило собственное нетерпение, сбита с толку нелепая уверенность, что у них с Евгением всё будет так же, как у её родителей. Глупая девчонка – в жизни ничего не повторяется... Но если нет любви, ей не нужны встречи. Так будет лучше. Лучше для нас... Женя, Женечка, Евгений...

Было воскресенье, и оно казалось ей нескончаемым. Нестерпимо тянуло домой, и желание это усиливалось с каждой минутой. С трудом уговорив руководителя группы, она ночным поездом уехала из Ленинграда. Ей хотелось только одного: переступив порог дома, набрать телефонный номер Евгения, сказать, что она всё понимает, не винит его, но просит не искать встреч с ней. И положить трубку.

Рано утром добравшись до дому, подойдя к двери своей квартиры, она не стала доставать ключи – всё равно мама проснется – и нажала кнопку звонка.

ТИНА проснулась от звона будильника. Но, еще не размыкая век, поняла – звук идет из прихожей. Она встала и, прикрыв дверь в спальню, чтобы не разбудить Евгения, направилась к входной двери. «Кому я понадобилась в такую рань? Может, срочный вызов?»

– Кто там?

– Это я, мамочка...

Тина откинула цепочку, распахнула дверь, отступила на два шага. Сана вошла. Какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга. «Что случилось, доченька?» – эти слова, готовые сорваться с её губ, так и остались произнесенными. Тина поняла, что самое главное и самое непоправимое случилось не с её дочерью, а здесь и с ней.

Наваждение оборвалось.

Она ни о чём не жалела, ни в чём не раскаивалась, а только с ужасом думала о том, *что* она скажет этой девочке, которая – плоть от плоти её – стоит сейчас перед ней, нуждаясь в помощи, девочке, которую она носила под сердцем и в которой долгие годы заключался весь смысл её жизни? Что она может сказать? Ей легче было бы предстать на суд перед целым миром, перед самим Господом Богом, взойти на костёр, только бы не чувствовать себя виноватой перед самым родным для неё существом...

Но она не успела ничего сказать. Из спальни донёсся голос, так хорошо знакомый ей и Сане. Они вздрогнули, мгновенно обернувшись на звук этого голоса: «Тинушка, Тина!» Они посмотрели друг на друга, мать и дочь, и Тина с отчаяньем увидела, как Сана съёжилась, беспомощно стиснув кулачки и прижав их к груди. «Сашенька!» – Тина рванулась к дочери, но та отшатнулась от неё, почти ударившись о стену: «Не трогай меня! И не говори! Ничего не говори!»

Они не увидели, как в прихожую вошёл Евгений.

– Сана, доченька, после твоего отъезда Евгений пришел к нам, чтобы увидеть тебя... Послушай...

– Нет, – вдруг закричала Сана, – это ты послушай меня. Я любила его, любила! И ты знала об этом! И мы с ним были вместе, совсем вместе... – Она напряглась, словно для удара, и тут же сникла, и мелко дрожащими губами тихо произнесла: «Как вы теперь». И замолчала. Она не умела нападать, ей нечем было защищаться, некуда отступить – и она еще теснее прижалась к двери.

Теперь каждый из них знал всё.

Через три дня Евгений уехал из Москвы. Так потребовала Тина:

– Этот гордиев узел, – сказала она, – можно только разрубить. Я люблю тебя, но... я виновата перед дочерью, и дай мне Бог когда-нибудь загладить эту вину.

– Ты не виновата, – тихим, почти осевшим голосом произнёс Евгений. – И никто не виноват. Судьба сыграла с нами злую шутку. Но, может быть...

– Нет, – Тина была тверда, – не может. Время ничего не сгладит. Нас трое, и Сана не может быть третьей, лишней. А мы, – она грустно улыбнулась, – мы уже взрослые, мы справимся... Обязательно справимся.

– Да, – ответил он, – наверное.

Если бы знать тогда, с чем ещё им придется справляться...

ЕВГЕНИЙ, Евгений Викторович А. рассказал мне эту историю, историю собственной жизни, когда волей случая мы познакомились с ним в одном из подмосковных санаториев, где он находился после недавнего инфаркта. Ему исполнилось шестьдесят, и к этому времени у него были две взрослые дочери и трое внуков.

– Тогда, – продолжил он свой рассказ, – по настоянию Тины я уехал из Москвы, начал работать в Челябинске. Оттуда сразу же прислал ей свой адрес, не раз писал письма, но она не отвечала. А потом узнал от знакомого страшную весть: у Саны родилась девочка, а сама она умерла при родах. Через несколько дней родилась девочка и у Тины. Это были мои дочери, я всё бросил, вернулся в Москву. Тина долго лежала в больнице до того, как её с двумя малышами выписали домой. Я был рядом с ними, как мог, помогал, но Тина и слушать не хотела о совместной жизни. Первое время ей тяжело было даже видеть меня. Я всё понимал и ждал, ждал... Но девочки подрастали, Тина видела, как они тянутся ко мне, и – сдалась. Мы поженились, когда им было по полтора года. Так и живём. Теперь уже внуки пошли. Только я вот заболел, и пришлось уехать подлечиться. А Тинушка дома, с ними...

Евгений Викторович произнёс имя жены с такой непередаваемой нежностью, что мне показалось – тень её коснулась и меня, человека ему постороннего.

«МЫ БЫЛИ МУЗЫКОЙ ВО ЛЬДУ...»

В январе 2002 года в Московской консерватории шёл вечер памяти композитора Виссариона Шебалина, посвящённый 100-летию со дня его рождения. В Малый зал пришли артисты и музыканты, ученики композитора, его сын, внуки и правнуки. Его вдова, Алиса Максимовна Шебалина, присутствовать на вечере не могла, мешал возраст: в сентябре 2001 года ей исполнилось ни много ни мало – сто лет.

А вскоре, в один из февральских вечеров, слушая любимый ею «Славянский квартет» Шебалина, она услыла и – не прослулась. В марте 2002 года урна с её прахом была захоронена в могиле мужа на Новодевичьем кладбище. Мой очерк об Алисе Максимовне тогда не успел увидеть свет, и я решаюсь – пусть с таким грустным опозданием, пусть хотя бы коротко, – воздать должное этой женщине.

Удивительно ранним было первое воспоминание Алисы Максимовны. В год и четыре месяца она заболела воспалением лёгких. Было тяжело дышать и почему-то очень страшно. И тогда дедушка купил игрушку – большого солдата в синем мундире, с ружьём на плече, и поставил его возле кровати внучки. Маленькая Аля успокоилась, и – началось её выздоровление... Не тогда ли зародилось в ней чувство, сделавшее её впоследствии настоящей хранительницей семейного очага, умевшей понять, что нужно близким в трудную минуту, и сделать – спокойно, разумно, несуетливо – именно это главное и спасительное...

Память этой женщины была поистине уникальна. Свидетельство тому – её книга воспоминаний «Беседы с памятью» в несколько сот страниц. Отдельные из них Алиса Максимовна печатала на машинке в возрасте 97 лет.

Шебалина хранила в памяти мельчайшие подробности быта своей семьи, знала, по рассказам родителей, их родословную, десятки больших и маленьких событий, касающихся многочисленной родни в нескольких поколениях. Она хорошо знала жизнь и предков своих, и потомков... *И нет более живой «связи времен», чем такой вот человек во плоти.*

Детство Алисы Максимовны, по её словам, было просто прекрасным. Родилась она в Москве, в доме, построенном её дедом, голландцем. Строитель и архитектор, он уехал в молодости на заработки в Россию. Его жена, немка, родила ему двенадцать детей, один из них был отцом Али. Её мама, в которой смешались две крови, французская и голландская, закончила русскую гимназию, свободно владела немецким и французским. Впоследствии, не имея высшего образования, заведовала кафедрой иностранных языков в Институте Красной Професуры.

Алиса Максимовна хорошо помнит походы с мамой и сестрой в Третьяковку, на выставки Куинджи, Левитана... И в свои десять лет, когда семья отдыхала на Балтийском море, Аля шла к берегу с мольбертом и масляными красками, писала пейзажи. Любовь к рисованию унаследуют потом дети, внуки и правнуки Алисы Максимовны.

В одиннадцать лет папа подарил Але двухколесный велосипед. В последний раз Алиса Максимовна ездила на велосипеде... в девяносто два года!

Из детства эта женщина вынесла, пожалуй, самое главное – вкус к жизни и почти абсолютный слух.

Музыка занимала особое место в её жизни. Музыкальной была семья деда – отец и три сына образовали домашний вокальный квартет. Сколько она себя помнит – музыка всегда жила в родительском доме. 1921 год стал началом музыкальных «Пятниц» в семье. В трудное, голодное и холодное время гражданской войны, пешком, со всех концов Москвы по пятницам в их дом стекался «цвет» музыкальной жизни столицы – Мясковский, Александров, Гедике... Сюда

впоследствии пришел и Виссарион Шебалин, талантливый музыкант и композитор, за которого Алиса Максимовна вышла замуж.

Музыка естественно и полноправно вошла в жизнь её собственной семьи. Музыкай занимались их дети и внуки, сейчас на рояле, что стоит на даче, играют её правнуки. А маленькая праправнучка учится играть на арфе.

Музыка для Алисы Максимовны, её предков и потомков всегда была частью их жизни. Они и сами были музыкой, эти интеллигентные и образованные люди, это о таких, как они, писал поэт Борис Пастернак: *«Мы были музыкой во льду...»*

Почему же при такой любви к музыке Алиса Максимовна стала врачом? *«... Тогда мало было детских врачей, а я всегда очень любила детей. И свою специальность – тоже».*

После окончания в 1924 году медицинского факультета Московского университета она работала в сельской больнице, принимала роды, лечила женщин, стариков, «хроников»; с осени 1938 – в детской больнице имени Филатова. Во время войны, в эвакуации, врачевала в совхозе под Свердловском.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.